

Повторение

Станислав Лем

– Случилось так, что ко двору короля Ипполипа Сармандского прибыли двое миссионеров-конвертистов, чтобы известить об истинной вере. Ипполип не был похож на других королей. Во всей Галактике не нашлось бы монарха, который столь охотно предавался бы размышлениям. Еще ползунком он играл золотыми мини-мозгами и строил из них вольнодумные самодумки и так наслушался мудрецов, что, когда пришел час его коронации, хотел сбежать через окно из тронного зала и поддался лишь аргументу, что другой на его троне может оказаться намного хуже. Ипполип был уверен, что хороший правитель не тот, кого подданные хвалят или ругают, а тот, которого никто не замечает. Король был приверженцем экспериментальной философии, в которой признается истиной не то, что сумеешь сказать, а то, что тебе удастся сделать. А потому оба отца конвертиста без боязни могли предстать перед Ипполипом. И безмерным был их радостный ужас, когда они поняли, что король не то что о Боге – вообще ни о какой религии еще не слышал. Они знали, что им придется возглашать слово Божье *in partibus infidelium*¹, но такого они не ожидали. Разум Ипполипа в вопросах религии был чист, как неисписанная страница, так что почтенные миссионеры просто на месте не могли устоять, так им не терпелось обратить короля в истинную веру.

Они сразу же уведомили его о существовании всемогущего Творца, который в шесть дней сотворил мир, а на седьмой отдыхал, о хаосе, который перед тем летал над водами, о прародителях, их грехопадении, изгнании из рая, об избавительном пришествии мессии, о любви и милосердии, а король пригласил их из зала аудиенций в свои покои и принялся допытывать ехидными вопросами, на что те отвечали с терпеливым пониманием, зная, что сомнения эти происходят не от ереси, а лишь от неведения. Ипполип, захваченный врасплох откровениями, которые ему пришлось впервые в жизни слышать, требовал по несколько раз повторять рассказ о сотворении мира, который прямо-таки одурял его своей новизной.

¹ В землях неверных (лат.)



Он все переспрашивал, вполне ли святые отцы уверены, что Бог сотворил мир для того, чтобы его заселить? Не могло ли случиться так, что творение было направлено на какие-то более отдаленные цели, а жители божьего здания поселились в нем ненароком, между делом? Действительно ли их имел в виду Бог, когда принимался за работу? А миссионеры, сдерживая возмущение, вызванное этой безграничной, а потому и безгрешной наивностью, отвечали ему, что Бог создал мир для детищ своих, потому что, будучи воплощенной любовью, ничего не имел в виду, кроме их счастья. Известие о такой сильной привязанности Бога к Сотворенным произвело на Ипполипа огромное впечатление.

Некоторые трудности вызвал вопрос о сатане. Тут король повел себя несколько необычно для новообращенного. Он удивился не тому, что Господь терпит сатану, а тому, что церковь им пренебрегает. Это получается примерно как с канализацией, говорил он. Неприятно, однако, необходимо. Если бы не было сатаны, Богу пришлось бы самому присматривать за адом, а это плохо вязалось бы с его безграничной добротой. Всегда удобней выделить кого-нибудь другого для подобных дел. А при нынешнем порядке вещей без пекла не обойтись – в противном случае нужно было бы с самого начала проектировать мир иначе. А потому церкви следовало бы официально

признать сатанинскую неизбежность. Но в конце концов златоусты кое-как одолели, королевское предубеждение, вывели мысли обращаемого в чистое русло, и Ипполип на двадцать девятом дне поучений принял благую весть, растрогавшись прямо до слез, а два миссионера, тоже взволнованные, подарили ему красиво переплетенный том Писания, благословили его и двинулись в путь к новым трудам и подвигам. А король на три недели заперся в своих апартаментах, совет не созывал, докладов не слушал, раз только послал за столяром, потому что под ним подломилась ступенька библиотечной стремянки, Но однажды утром он вышел в сад, взирая на все до мельчайшей травки новым взглядом как на Божье дело, а вернувшись во дворец, велел послать самого Королевского Онтолога за знаменитыми конструкторами-омнигенериками Трурлем и Клапауцием, чтобы они явились к нему – и немедленно!

Вскоре они прибыли, запыхавшись – так подгонял их достойный посланец, – склонились перед тронem и ждали королевского слова, причем Клапауций незаметно ткнул Трурля в бок, напоминая, что говорил он ему перед отъездом: вперед не выскакивай, а каждое слово трижды обмозгуй, прежде чем произнести. И лучше помалкивай, а он, Клапауций, берет всю аудиенцию на себя.

– Здравствуйте, дорогие мои, спасибо, что так быстро явились, – приветствовал их Ипполип и предложил садиться. – Слушайте меня внимательно, ибо великое дело я задумал, и успех его зависит от ваших сил и способностей. Недавно посетили меня два инозвездных пришельца, и от них я узнал, что Космос вовсе не бесхозная вещь и что у него есть Автор. И этим Автором является Бог, персона, как меня заверили, в высшей степени симпатичная, в которую я уверовал без всяких сомнений, чего и вам желаю. Завтра я издам эдикт, по которому каждый из моих подданных получит экземпляр Святого писания в кассетной записи, но вас я вызвал не по этому вопросу. Теперь я уже знаю, что мир не сам по себе появился, а был создан Творцом самолично как жилье для существ, им же созданных. И коль скоро Бог сделал свое дело, то и я свое обязан совершить. Пришельцы, которым я обязан своим обращением, горячо убеждали меня, чтобы я в первую очередь заботился о собственном спасении, и я выслушал их не прерывая, ибо это было бы невежливо, но думал я совсем о другом. Я не таков, чтобы прежде всего думать о себе. Ведь все сущее неизмеримо важнее меня! И всеобщему благу хочу я посвятить остаток своих дней. Я, конечно, читал, достопочтенный Трурль, твою книгу «*Impossibilitate felicitationes entium sapientum*»², но она меня особо не взволновала – нет ничего удивительного, что в скверном мире и

² "О невозможности насыщения счастьем разумных существ» (лат.)

живется не слишком хорошо. Последним, за что я держался, прежде чем уверовать в Бога, было обращенное к нам совершенство строения Вселенной. Тогда я рассуждал; если все это само разогрелось, раскрутилось и разлетелось во все стороны, то ни к кому нельзя предъявить претензий за возможные недоделки и ошибки, и таким образом, в дефектах бытия нет никакой проблемы. Теперь же, когда я верую, больше думать так не могу. Для меня изменилась сама сущность вещей. Я верю и не сомневаюсь, что Творец бесконечно добр, что он безгранично нам симпатизирует, что он хотел сделать все как нужно, будучи максималистом, но я не верю, что невозможно было сделать это лучше.

– А дали вы, Ваше Величество, это понять своим духовным восприимникам?

– спросил Клапауций как можно дипломатичнее.

– Что? Нет. Во-первых, я не хотел их обидеть, а во-вторых, не видел смысла сообщать им о таких сомнениях. Ведь они специалисты в области теологии, а не технологии, меня же интересует как раз эта сторона бытия. И я не сказал им ничего, тем более что не собираюсь вдаваться в бесплодное критиканство, но как поборник экспериментальной философии хотел засучить рукава и взяться за дело. Признаюсь, поначалу мне пришло в голову усовершенствовать одних только Сотворенных, потому что и материал на них пошел не слишком приличный, и функционируют плохо, не говоря уже о среднем уровне их интеллекта, но тут я вспомнил о твоём сочинении, дорогой Трурль. Ты ведь тоже не трогал Вселенную, а только хотел улучшить ее жителей. Извини меня, уважаемый, но тут ты перевернул все вверх ногами. Подгонять квартирантов под квартиру – вещь неслыханная. Я же поставил перед собой обратную задачу. Я собираюсь создать альтернативное бытие.



– Значит, Ваше Величество пожелали вложить в космическое дело капитал, а нас назначить главными производителями работ?

– Ты верно все понял, достойный Клапауций. Я знаю, что создать новый мир – это не то же самое, что поставить новое гумно, но я не боюсь объективных трудностей. Если бы создать Вселенную было так же просто, как горшок слепить, я и сам бы за это не взялся, да и вас утруждать не стал.

– Простите, Ваше Величество, – сказал Клапауций, – но мне не совсем ясно, как можно, считая себя верующим, желать сконструировать мир, противоречащий канонам твоей веры?

– Почему же противоречащий? – удивился Ипполип. – Просто другой. Разве ты видишь в моем замысле противоречие?

– Мне кажется, да.

– Ты ошибаешься, и сейчас я объясню тебе твою ошибку. Верить ли ты в летательные аппараты?

– Верю, потому что они существуют.

– А в алгебру веришь?

– И она существует. Верю. Но ведь в их существовании можно и лично убедиться, на опыте.

– Ну, ну! – усмехнулся король. – Вижу, на какой мякине ты меня хочешь провести, но это у тебя не выйдет. Ведь ты веришь также и в то, чего не проверял и не сможешь проверить никогда. Например, в существование таких больших чисел, что наверняка не удастся их исчислить, или в солнца, которых ты никогда не увидишь. Не так ли?

– Разумеется.

– Вот видишь. Так вот, разве твоя вера помешает тебе построить небывалую летающую машину или разработать новую алгебру? Разве существующая алгебра запрещает тебе выдумать другую?

– Нет, государь, но ты сам говорил, что Бог создал мир из любви к Сотворенным. И, создавая новый мир, ты отвергаешь Божественную любовь.

– *Nego consequentam!* Ничего подобного! Предположим, отец построил тебе дом. Если ты построишь рядом с ним другой дом, разве из этого вытекает, что ты перестал уважать отца или пренебрег отцовской любовью? Ты спутал Божий дар с яичницей!

Никакой связи я не вижу между моим предприятием и любовью Всевышнего. Ну, убедил я тебя?

– Но ведь ты отвергаешь дар, согласно твоей вере, совершенный, разве не так?

– Почему же отвергаю? Разве я сказал, что хочу оставить этот мир? Я хочу только произвести эксперимент, вот и все. Кроме того, я не забываю, что я тоже часть Творения, а от себя я отказываться не собираюсь.

Клапауций молча поклонился и, видя, что Трурль собрался раскрыть рот, ловко лягнул его в щиколотку. Король, который ничего не заметил, продолжал:

– Наметим себе путь. Еще в бытность мою инфантом говорили мне наставники, что мир существует сам по себе, а мы, хотя и внутри него, тоже сами по себе. Он и не заботится о нас, и не вредит нам умышленно, потому что не к нам обращен фасадом. Если мир – это кладовая, то построена она наверняка не для мышей, которые в ней жируют. А коль скоро она для них не предназначена, то нечего удивляться, что полки слишком высокие, что можно утонуть в кринке молока и что по углам попадают несъедобные субстанции.



– А как насчет мышеловки, Ваше Величество? – не выдержал Трурль.

Ипполип усмехнулся:

– Ты имеешь в виду дьявола? Это, дорогой Трурль, экстремист, без которого обойтись невозможно. Дьявол в Божьем творенье то же самое, что регулятор в паровой машине, – без него все разлетелось бы на куски! Соображаешь? В определенном высшем смысле плюс сотрудничает с минусом, а ход равномерен, покуда противоположные импульсы уравниваются. Ну, об этом когда-нибудь в другой раз поговорим. Итак, меня убедили в том, что существует некто, бесконечно добрый, кто построил нам космические квартиры и позаботился, чтобы квартиры были обращены к обитателям парадной стороной. Все в Божьем творенье для блага его обитателей, все подогнано точно по размеру, а если что давит, жмет или даже обдирает кожу, то в этом также проявляется Божья благодать, и лишь только ничтожный жилец не может сразу это признать. Теологи ему в этом помогают: бытие, воплощенное в материи, есть дидактический сегрегатор или, собственно, гумно, где отсеивают злаки от плевел. Поскольку я люблю процесс ученья, меня радует устройство мира в виде университета с конкурсными экзаменами. Однако едва добрые отцы-миссионеры покинули меня, я с беспокойством подумал, что, очевидно, не только этот мир, а и любой другой следует считать даром любви Всевышнего. Представьте себе мир, в котором все болит. Кому в голову придет хотя бы буква – застонет, а кому весь алфавит – так уж почти помирает. Даже если о Боге подумает, и то как будто из него живьем ремни режут. И пусть они там вопят, так что солнца сотрясаются и окалина, как чешуя, сыплется у них с перегретых боков. Что из того? Разве нельзя хвалить и такой мир, считая, что боль благодатна, потому что приводит в рай, а при случае напоминает об аде и тем отвращает от греха? И можно ли придумать такой чудовищный мир, чтобы уже никто не мог назвать его следствием бесконечной доброты Творца? Даже если бы это был сущий ад, то и тогда можно было бы утверждать, что это только макет, а настоящий ад где-то в другом месте и намного хуже. Поди докажи, что это не так! А потому, как видите, можно ввести теодицею³ в любой тип мира и провозглашать, что тот, кто доверяет Творцу даже тогда, когда из-за этого доверия от него пух и перья летят, зарабатывает себе этим вечное блаженство. Но ведь похвалы, которые ко всему подходят, стоят немного...

– Говорил ли король и об этом своим духовным отцам?

³ Раздел богословия, призванный увязать существование зла в мире и Божественное добро

– К королевским словам следует прислушиваться внимательно, милейшие. Я говорил вам о том, что пришло мне в голову уже по отъезде достойных отцов! Так вот, я думаю, что наш мир не единственный. Некоторые доводы в пользу этого можно найти и в Писании. Возьмем хотя бы Страшный суд. Последний суд, ибо, в общем, после него ничего интересного или принципиально нового не произойдет. Но как же так? Неужели после подведения баланса Господь никогда ничего не стал бы предпринимать? В это трудно поверить. Настоящий творец не удовлетворится одним вариантом. Конечно, не совсем удачные миры – это для него трудная дилемма. И сохранить плохо, и уничтожить нехорошо, – потому что, собственно, по какому праву?



Мне кажется, он поначалу пробовал делать какие-то исправления в виде так называемых чудес, а потом оставил все как есть.

– А слышали ли вы, Ваше Величество, об отступничестве и ереси?

– Ну что ты пристаешь ко мне с такими вопросами? Можно подумать, что я уже стою перед епископальным судом. Разумеется, я слышал об отступниках, но они исходят из неприязни к Творцу, а я, наоборот, хочу оказать ему помощь.

– Государь, – промолвил Клапауций, покашливая, – мы оказались в сфере весьма деликатной, прямо-таки щекотливой теологической экзегезы⁴. Боюсь, что Ваше Величество вызвали не тех специалистов.

– Ты ошибаешься, потому что я не собираюсь ни отступить от веры, ни реформировать ее. Я стремлюсь не к ревизионизму, а к творчеству.

– Но ведь... – начал было Трурль, но Клапауций незаметно наступил ему на ногу, а сам, склонившись перед королем, спросил:

– Ну, хорошо. Какой же мир Ваше Величество изволит заказать?

– Это, собственно, и надо обдумать. Теологи говорят, что Бог придал своему произведению две особые черты, или же два ограничения. Одно из них помещено им вне Сотворенных, а другое – в них самих. Бог все слышит, но не отвечает. Присутствует, но не являет нам себя, так что контактировать с ним нельзя. Раньше, бывало, как-то еще общался, а теперь перестал. Так что непосредственная связь с Богом – односторонняя. Другой запрет таков: Бог – инженер, который, создавая других инженеров, уже с самого начала ограничил их так, чтобы они не могли конкурировать с ним. Учителя показали мне это на примере Вавилонской башни. Я попытался Сбить их с панталыку, но они не поддались. Но разве соревнование должно всегда исходить из низменных побуждений? Создатель нового лекарства изобретает его не для того, чтобы отодвинуть в тень создателя лекарства уже существующего, а лишь для того, чтобы уменьшить страдания людей. Почему же творец нового мира должен измышлять его назло творцу мира уже готового? Послушать миссионеров, так Бог подозревает всякого, кто хочет вступить с ним в творческое соревнование, в грешных намерениях – в том, что борьба затевается не за совершенствование мира, а за небесный престол. Я же считаю, что Бог гораздо более скромнен и потому более симпатичен, чем хочется этого теологам. Произведение больше говорит о творце, чем любой панегирик. Если внимательно приглядеться к миру, видно, что он сотворен в высшей степени скромно, даже анонимно. А разве Бог не в состоянии был поставить свой фирменный знак на каждой былинке? Не рассуждения вокруг да около, не комментарий (а Писание есть только комментарий к Творению), а непосредственное доказательство авторского исполнения! Я склонен считать сдержанность, скромность Божью основной причиной этой космической анонимности, доводящей теологов до головной боли. Бог затаил свое авторство так мастерски, как будто его вовсе не было. Разве это могло стать делом случая? Бог спрятался, потому что хотел спрятаться. Вот это мне нравится!

⁴ Здесь: толкование религиозного канона (греч.)

Такую деликатность я уважаю! Но тут они на меня накричали. По их мнению. Бог дает нам своим примером урок любви, а спрятался, чтобы дать нам полную свободу. Вроде как если садовник на виду, то на яблоню никто не полезет. Ну, а с другой стороны, если кто воспользуется этой свободой до отвала – его черти заберут. Какая-то сомнительная выходит педагогика. Давать затем, чтобы никто ничего не брал, – зачем же тогда давать? А если кто берет не от испорченности, а по инерции? Если кто свободен не как стихия, а как выбитая ось, которая вихляется во все стороны, потому что уж такой у нее расхлябанный характер? Так я спросил у патеров, а они отвечали, что тот, кто задает такие вопросы, впадает в безумие или грешит, то есть он или болван, или негодяй, что же касается Господа Бога, то ему лучше знать, что и как надо делать. Возможно. Допустим. Господа Бога я касаться не буду, но от вас подобных оправданий не приму. Говорю это вам заранее, чтобы потом не было никаких недоразумений. Даю вам все полномочия, творите мир смело, но не как придется. Все должно быть выполнено солидно, с регулярной оптимизацией, а не со случайной... Понимаете, к чему я клоню? Нерегулярный оптимизатор – это сатана, он действует как регулятор-провокатор, ибо он сначала совращает ко злу, а потом подставляет бездну. Прошу вас избегать такого экстремизма.



– Если обобщить речь Вашего Величества, то исходные данные получаются такие, – сказал Клапауций. – Поскольку Бог заблокировал связь, то мы ее откроем.

Поскольку он был авторитарным нейтралистом, нам нужно творение демократически децентрализованное. Демократия же означает равенство, значит, каждый житель новой Вселенной сможет сотворять себе миры, кто какой захочет? Я правильно понял?

– Избави Бог! – вскричал Ипполип. – Совсем не так! Неужели я мог бы начать демократическое сотворение с точных указаний? Разве не было бы это *contradictio in adjecto*?⁵ Я удивляюсь тебе, достойный Клапауций, что ты мог обо мне так подумать. Я не считаю, что Бог совсем закрыл для нас возможность творения, иначе и я сам не смог бы приняться за работу. Я пока не настаиваю на связи, сначала вы населите мне этот новый мир, а потом посмотрим, есть ли там с кем поговорить. Дух духу рознь, и вы, мои дорогие, столько их успели насоздавать, что сами хорошо об этом знаете. Легко допустить до себя какую-нибудь фрустрированную и закомплексованную личность со сплошными претензиями и рекламациями. Труднее не напортачить.

– Ну, я прямо не знаю... – пробормотал Клапауций. – Ваше Величество дает нам полную свободу проектирования? И мы должны сотворить мир, совершенный по нашим представлениям? Э-э, э... как бы это сказать, чтобы не оскорбить слух и достоинство Вашего Величества... это же выходит дуумвират, а не триумвират, если мы должны сделать все, а милостивый король – ничего.

– То есть как? Как это ничего? – рассмеялся король. – Ведь это я буду решать, удалось ли вам творение или нет. И, кроме того, я не закончил. Не буду вдаваться в подробности, но на вашем месте я опробовал бы различные прототипы, а потом все наилучшее связал в один узел, – но это уже дело ваше. Вот чего я хочу в первую очередь: чтобы вы навели порядок со временем. Его необратимость – это, скажу я вам, просто скандал! Что стало, того уж не отменить! Кому ближние загубили нынешнюю жизнь, тот в виде компенсации должен получить вечное блаженство. Однако завтрашняя колбаса вчерашнего голода не насытит, даже колбаса бесконечной длины. Мне такая арифметика не нужна. Необратимость времени – вот изначальное неудобство бытия. Ведь известно, что тот, кто начинает жить, сам себе часто вредит по неопытности, а кто заканчивает жизнь, тот уже точно знает, что к чему и почему, но уже поздно что-либо исправлять. Божий «тот свет» – это такая станция последнего обслуживания, на которой ничего не исправляют, а только сортируют – кого к ангелам, а кого в смолу. А тот аспект, что зло может быть следствием неумолимой природы времени, вообще не принимается во внимание. Возьмитесь-ка за время! Сделайте, чтобы тот, кто раз оступился, мог бы эту ошибку аннулировать, пусть он и по второму

⁵ Внутреннее противоречие (лат.)

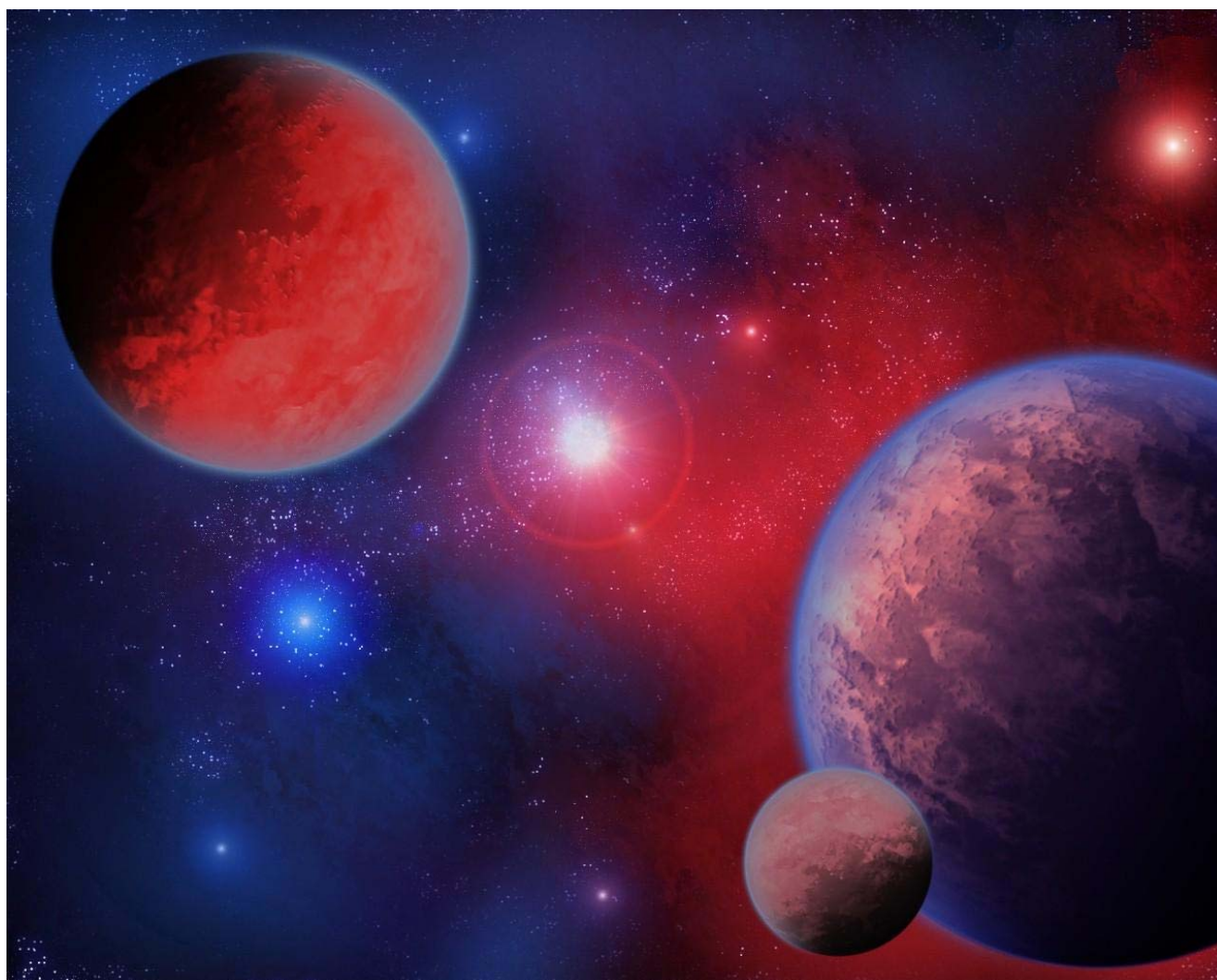
разу не исправится, но уж после двадцатого или сорока либо ему надоест грешить, либо сам станет лучше.

– Ну, конечно! Можно создать анизотропную Вселенную! – выкрикнул Трурль, который не в силах был больше молчать. – Анизотропный мир с обратным бегом времени, включаемым в отдельных местах, называемых «особыми точками» континуума.

– А почему именно так? – заинтересовался король.

– Потому что таким образом власть над временем становится независимой от уровня технического развития, – весь сияя от своей находки, пояснил Трурль. – Это будет таким же всеобщим свойством в том мире, как в нашем – закон тяготения. А что значит всеобщее? Демократично!

– Понимаю. На первый взгляд неплохо. Когда вы покажете мне прототип?



– Пожалуй, недели через две. А ты как думаешь? – Трурль посмотрел на коллегу. Клапауцию не по вкусу было такое поспешное решение, но аудиенция его утомила, и он молча кивнул головой.

По дороге домой они отчаянно ругались. До изнеможения препирались они между собой и во время работы, но срок выдержали. В условленный день они прибыли ко двору, толкая перед собой маленькую двуколку, заваленную аппаратами и инструментами. На самом верху стояли ящики, соединенные кабелем. Сейчас же прибежал король, и в зале для аудиенций среди позолоты, поблекших знамен и династических гербов расставили на полу аппараты. Клапауций подкручивал гайки, а Трурль болтал, как заведенный:

– В этом большом ящике – питание, а в меньшем – мир! В точности такусенький, как я обещал милостивому королю, – анизотропный, с особыми точками, в которых можно переключать бег времени, а доступ к этим точкам равный и всеобщий. Измыслили мы, государь, и несколько персон, которые в будущем помогут нам в опробовании следующих вселенных... Волю они имеют свободную, каждый делает то, что ему заблагорассудится, указаний мы им не даем, не связываем их ни в чем, чтобы можно было рассчитывать на естественность их поведения. Разумеется, никто из этих пробных личностей не сможет быть в точности тем же самым в каждом из миров, потому что радикальная перестройка онтологии нарушает их физиологию, но все же мы позаботились о сохранении некоторой инвариантности как совокупности личных черт, иначе было бы невозможно сопоставление бытия и сущности во всех этих мирах...

– А как туда заглянуть? – спросил король, присматриваясь к хлопотливой суете Клапауция и мешая ему, потому что королевские ноги путались в проводах.

– Сейчас мы устроим времянку. Поставим на экзистоскоп псевдокристалл, лазерный сигнал каскадно усилим на выходе, ну, а дальше уже обычным способом, через проектор, скажем, на эту стенку...

– Можно! – сказал Клапауций и поднялся с колен. Трурль зажал кулаком неисправный разъем, потому что у него под рукой не оказалось изоляционной ленты, и проекция началась. Алебастровые плиты между пилястрами порозовели, и на них появилось изображение, сначала несколько расплывчатое и неустойчивое, но быстро сфокусировавшееся. И стало видно, как один феодал, некий Марлипонт, отправляясь в крестовый поход, наказывал жене блюсти супружескую верность, а затем, будучи по натуре человеком подозрительным, запер ее в угловой башне замка и под дверьми ее

посадил доверенного слугу с мечом. Для большей гарантии Марлипонт приказал одного слугу приковать цепью за ногу к стене, чтобы тот не мог сбежать со своего поста. Ключ спрятал себе под панцирь, не слушая молений слуги хотя бы о бочке солодового пива, сел на коня и поскакал за скрывающимся в пыли войском. Еще не улеглась пыль, как Креншлин Щедрый, его сосед, который, будучи вольнодумцем, в крестовый поход не пошел, начал взбираться по плющу в башню, в которой прекрасная Цевинна Марлипонтская пряла мох, потому что лен у нее весь вышел, а, будучи заперта, она не могла послать за новым.



Примерно на высоте второго этажа плющ, слабо выросший между камнями, оборвался и рухнул вместе с Креншлином-вольнодумцем на мощный двор, от чего неудачливый любовник сломал обе ноги. С огромным трудом, но поспешно пополз Креншлин ко рву, где ждали его с конями верные слуги, велел уложить себя в люльку между двумя конями и гнать во весь опор в усадьбу Треципала Сувы, у которого в печи находилась сельская темпорня.

Прибыв к Суве, несчастный молодой человек сначала просьбами хотел склонить старика, чтобы тот передвинул рычаг назад, а когда тот отказался, ссылаясь на Марлипонтов приказ, Креншлин положил на грязный стол мешок, тугой от дукатов,

припасенных на такой случай. Тут у Сувы глаза старческой слезой заволокло, и, поддерживаемый с боков слугами, Креншлин смог войти под навес, прикрывающий часовницу, где стояли рычаги, Двинул главный, и сразу ноги у него срослись, потому что обратным ходом попал он из неудачного понедельника в позапрошое воскресенье. Дал слегка вперед, но не слишком резко, с расчетом, чтобы плющ успел сначала хорошенько развиться, а ускоряя время, поглядывал при этом в окно, идут ли дожди, в высшей степени полезно влияющие на корневую систему растений.

За шесть минут быстренько обождав две недели, пустил он время в обычный ход и во всю конскую прыть помчался к башне. Плющ хорошо окреп, в окне никого не было, тогда Креншлин хват за цепкую поросль – и наверх. Вскочил в окно. Цевинна как раз расчесывала волосы перед серебряным туалетным столиком, а он подошел сзади и схватил ее в объятия. Она сопротивлялась, но без ожесточения. Но лишь только они слились в объятии, как по каменной лестнице загрохотали железные шаги мужа, который неожиданно вернулся, потому что забыл попросить жену повязать ему шарф на воинское счастье, а у всех остальных рыцарей такие шарфы были. Не успел Креншлин подбежать к окну – кальсоны мешали, – как вошел муж, вооруженный и настолько ловкий, что еще в дверях, пригнувшись, чтобы не разбить лоб о притолоку, вытянул меч из ножен. Безоружный Креншлин ретировался, схватился за плющ и как мог быстро стал сползать, а супруг Цевинны, ревя, как буйвол, с великим трудом и скрежетом просунул закованное туловище в оконный проем и давай резать, сечь, рубить сплетения плюща. Плющ оборвался, и Креншлин камнем полетел вниз. На лету храбрый, хоть и неудачливый поклонник нашел силы крикнуть Цевинне, чтобы в следующий раз сама помнила о шарфе.

Теперь Креншлину пришлось хуже: на контрфорсе его перевернуло и он грохнулся головой о каменные плиты, от чего повредился в рассудке. Он еле дышал, когда слуги снова сунули его в предусмотрительно устроенную люльку и сначала галопом, а потом рысью помчались к старому Треципалу. Прежде чем Марлипонт, прогрохотав внутри башни, как сорвавшийся мельничный жернов, выпал на двор рыча: «Коня! Королевство за коня!!!» – Креншлин в темпорне уже потянул слабеющей десницей за рычаг, и так отчаянно, что пролетел из июня в декабрь. Холодно было ждать в неоттапливаемой темпорне начала крестового похода, а потому он дал малый вперед до самых мартовских ид и далее к плющу.

Может, Цевинна расслышала, что кричал возлюбленный, летя вниз головой с башни, а может быть, Марлипонт на этот раз обошелся без шарфа, но, когда Креншлин появился перед своей золотоволосой красавицей, на лестнице было тихо, как будто и

старый слуга уже угас от голода. Но рассудительный Креншлин сначала задвинул засов, а потом уже кинулся в объятия милой. Страстной, самозабвенной была их любовь в башне, не слышали они ни совиного крика, ни грозы, которая прогремела с полуночи. На заре Креншлин вскочил, перекинул без лишних слов ноги через парапет, шасть по плющу вниз на подворье, в седло и галопом к темпорне.

Вокруг крапива, как лес, внутри тихо, но и тут он был предусмотрителен: придерживая плохо подпоясанные шаровары, на карачках пополз к калитке, оглядываясь во все стороны, и правильно сделал, потому что над самым ухом у него бухнул самопал, поставленный в междучастье каким-то неизвестным. Тогда только он толкнул дверь – и к рычагу. Устроил из утра вечерние сумерки предыдущего дня, поставил рычаг посерединке и занялся делом. Затянул петельку на истертой рукоятке, под столом пропустил шнур на стропила, со стропил через дыру в крыше на конек, с конька под стреху, тут привязал конец шнура к пустому ведру, ведро подвесил под дырявый водосток, еще нагреб мусора, присыпал им шнур, идущий от рычага, поплевал на руки, вскочил в седло – и обратно к башне.



Больше всех среди зрителей дивился этому Его Величество король. Зачем это он так? Что ему следующий день и ночь – хуже?

– Учти, милостивый владыка, что он привык к обратимому времени, как и все они там, – доступно объяснял Трурль. – А кроме того, он знает, что вернуть приятные минуты ничего не стоит, зато неизведанное будущее может таить в себе неожиданные опасности.

– А зачем ведро?

– А помните, перед утром шел дождь? Когда опять перед рассветом польет, ведро наполнится, потянет шнур и рычаг, и таким образом все повторится.

– Видно, что бывалый часоходец! – вмешался Клапауций. – Шнур замаскировал, если кто даже и войдет, может не заметить.

Тем временем ночь любви подходила уже к концу, уже дождь собирался, как вдруг цокот копыт и звон оружия прервали сон любовников. Подскочил Креншлин босиком к окну и видит – дело плохо: внизу группа вооруженных всадников, шесть Марлипонтовых зятьев, которые должны были в его отсутствие присматривать за помещьем и за Цевинной, – и вот притащились, хотя их усадьбы за двести верст, значит, уже у темпорни соседнего уезда.

Что делать? Может быть, через пушечную бойницу съехать прямо в ров? Оторвался Креншлин от встревоженной Цевинны, вцепился пальцами в тугие сплетения плюща и уж поехал вниз, как вдруг завопил от боли. Смотрит – а это не ночь, а день, и он не наверху, а на камнях со сломанными ногами, и над ним Марлипонт, весь в железе, рычит: «А-а, мерзавец, предатель, прохвост! Думал меня перехитрить? Да мне до темпорни так же близко, как и тебе, чужеложцу. Ну, погоди, сейчас я тебя приласкаю!»

По его знаку несут футляр железный, кованый, ставят, отворяют, а в середине он весь гвоздями утыкан – ох, совсем плохо дело! Креншлину хорошо знаком этот инструмент. Во все глаза высматривает он тучку – вот и первые капли падают, но всего-то их кот наплакал... а уж его взяли за шиворот, пихают его слуги в железное нутро, а там гвозди, как бритвы, только лишь захлопнут и...

Бабахнул гром, и полило как из ведра.

– Это ничего! Не возитесь, сукины дети! Быстрее, не копайтесь, закрыть, завинтить! – командует Марлипонт, а зубы у него так и сверкают через решетку забрала.

Тучи словно прорвало. Лишь бы только шнур уцелел! Креншлин изображает обморок, вываливается из рук телохранителей, они натуживаются, вот уж спиной он чувствует первые острия, взвизгнул – и рухнул во весь рост.

Мрак и тишина. Только дождь шумит. Ощупал Креншлин бока – целы. Ноги – прямее не сыщешь. Если бы не ведро, подумал, конец бы мне. Ну и дурак же этот Марлипонт. Не поинтересовался, что там за шнур, откуда. Слава тебе, Господи, что ты разума ему не дал! А что же теперь? Где я? Вот ров. Стена. Башня. Цевинна? Не до нее сейчас. Марлипонт, наверное, очумел от злости и помчался к темпорне, надо его опередить.

Со всех ног пустился бежать Креншлин, но скоро заметил, что вроде бы как медленней бежит. Что такое? Шаги какие-то маленькие. Боже всемогущий!

– ноги укоротились. Пощупал усы на лице – нету усов! А Марлипонт, наверно, уже в темпорне, и не то чтобы неделю или год, а целый десяток лет у него отнял – уж молоко на губах! Теперь отыщет меня и утопит, как щенка...

Так как же? Что делать? В деревню, втереться в кучу босой детворы, в подлое сословие, немного, дурачка изобразить? А если узнает, выловит муж-ревнивец? Он-то старше, ему сейчас только тридцатка подходит!.. Однако Креншлин все бежал в сторону темпорни, пока не увидел зарево. Деревня горела. Еще раз прикинул он на пальцах, сколько же сейчас лет Цевинне. Цевинке, вернее... Двенадцать? Еще у отца, маркграфа Гамстербандского, куклам кринолинчики шьет...

Ну и зарево! Лишь бы темпорня не... Вот он уже и у плетня. Горит халупа Трещипала. Крестьяне в свитках тянут имущество на огород. Ох, не имущество это, а убитые в доспехах, голота с них сапоги стягивает. Грабят, как обычно, после побоища. Кучей лежат. А кто же это? Ба! Цвета Марлипонта! А вот из огня выпадает сам Марлипонт, безоружный, пеший, без шлема, мчится, аж железом гремит, а за ним на коне зять, и другой тут же с мечом в руке! Ну да... видно, им имение понравилось и вместо опеки они учинили наезд... да только дурни так себе фортуны исправляют, а не рыцари Хроноса...

Стянул Креншлин с плетня подштанники и крестьянские юбки, подбежал к колодцу, окатил их из ведра, накинул на голову мокрые тряпки – и к темпорне, которая уже полыхала. Опалило ему брови, от жара дух захватило, а тут двери изнутри подперты – ох, нехорошо! Шмыгнул он в огород – малец всегда обернется быстрее взрослого, – выдернул у первого лежащего пистоль из-за пояса, порох на полке есть? Есть! Перескочил к окошку, с той стороны бревна только дымились, а на крышу первые

голубые язычки выскакивали, поднялся на цыпочки, заглянул внутрь – там Сува лежит с перерезанным горлом, а ноги на двери, потому и не открывалась.



Другого выхода не было. Прицелился Креншлин в пылающую рукоятку рычага. Только бы не слишком сильно ударило, а то качнется назад так, что исчезну и не будет меня на свете. А, черт с ним. Только подумал и выстрелил. Звука уже не слышал.

Лежал навзничь, глядел в необъятное, затянутое тучами небо. Ветер шумел, тихо было и пусто. Он боялся пошевелиться.

«Если младенец, то как до рычага доберусь?» – это была его первая мысль. Пощупал лицо – снова без усов, но зубы есть. И то хорошо. А не молочные? Никак не мог сосчитать языком коренные.

– Саперлипопетт! – попытался проговорить громко. Вышло – значит, не грудной!

Вскочил Креншлин на ноги – и к темпорне. О ней думал в первую очередь, а не о себе, не зная, сколько ему теперь, восемь или четырнадцать лет! Пришлось лезть к рычагу по столу – была все же у пули сила! – вцепился двумя руками в рукоять, слабо, навалился всем телом вперед и заорал от неожиданности, потому что грохнулся теменем об навес, не соскочив вовремя, пока рос...

Сначала ощупал шишку на голове, потом губу: нет лучшей меры времени, чем растительность! Все в порядке, усы пробиваются!

Среди ночи Креншлин задержал время. Если лет на двадцать пять время назад отодвинуть, когда Марлипонт и зятя еще под стол пешком ходили, вот было бы чудненько... Но тогда и сам не то что в детство впаду, но и вообще пропаду, будто меня и не было. Ох, жалко, голыми руками повытаскивал бы их из люлек! Вперед тоже далеко нельзя: и Цевинна постареет, да и неизвестно, не стоит ли кто там, в будущем, у рычага, занеся меч для удара, – и такое случалось.

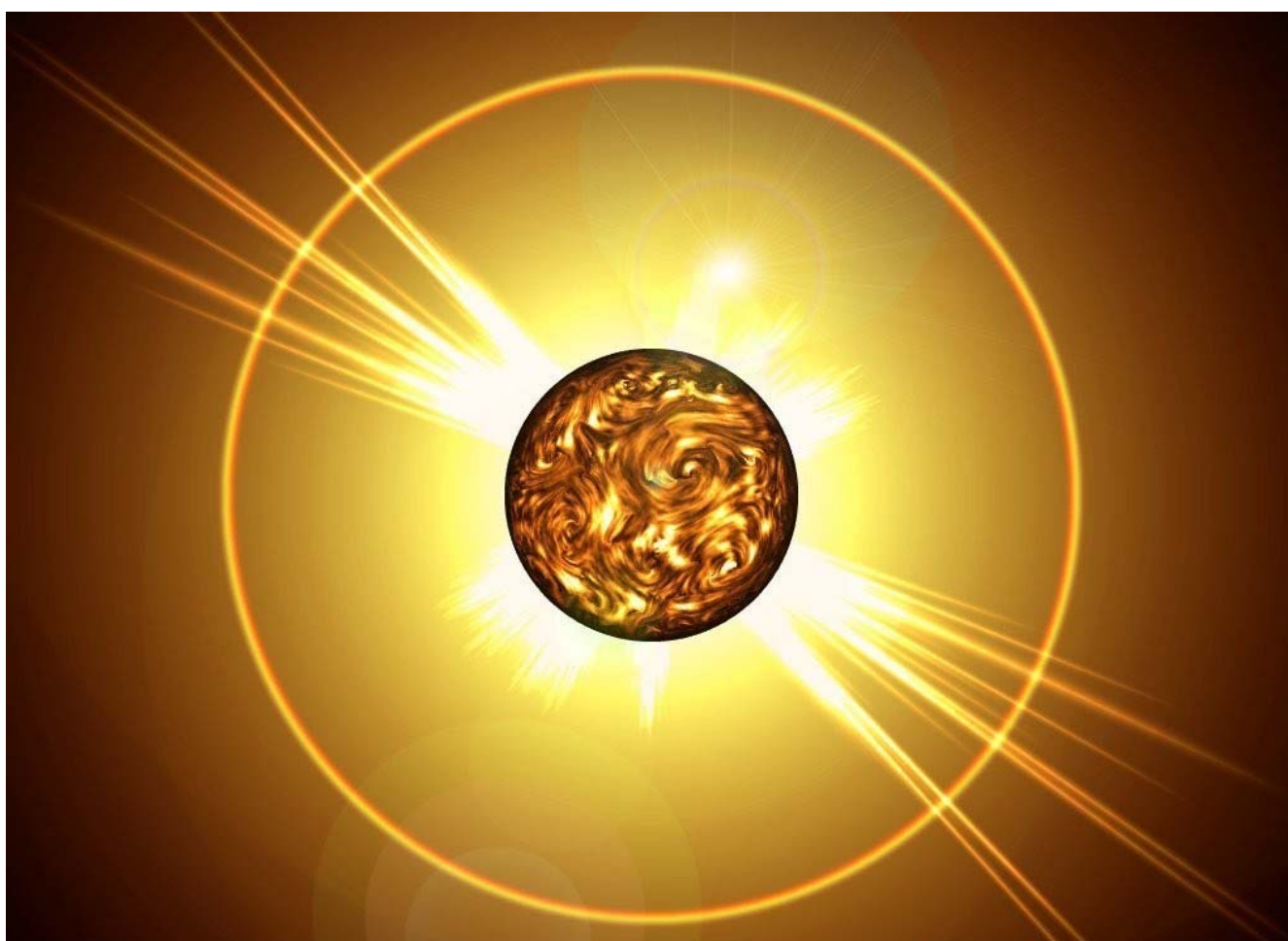
Так и не знал он, что и поделать, а тут кто-то стал подбираться к дверям. А они бревном подперты, тогда тот, за дверью, басом кричит своим, чтобы живо таран несли. Отвел Креншлин быстренько время на неделю – и опять никого нет.

– Вот хоть я и хозяин времени, а двинуться отсюда не могу ни на шаг, хороша власть! Вот уж влип так влип! Так что же, сидеть в темпорне, как в тюрьме, до конца дней или метаться туда-сюда из futurum в plusquamperfectum? Impossibile est! Да и с голоду здесь подохнешь! А тут снова кто-то щупает засов снаружи и слышится голос: «Пусти меня, милый, это я, Цевинна!» Привязал осторожный Креншлин шнурок к рукояти и потихоньку выглянул в щель. Если не она, потяну, прежде чем оттуда выстрелят через доску, а если попадут, то, валясь замертво, все равно натяну шнур, пихну бытие назад и воскресну. Всякое бывает. Иной раз, когда беда прижмет, стоишь, взяв рычаг на себя, а время прямо фырчит, мчась обратно, а под ногами, по углам, у стен появляются скорченные трупы, оживают в обратной агонии, царапают пальцами окровавленные бревна и исчезают, как дым. Когда однажды Креншлин так стоял, вывалились из времени какие-то двое, сцепившиеся насмерть, толкнули его в бок, так что он чуть рукоять не выпустил.

Нет, это точно Цевинна. Впустил он ее, а она кинулась ему на грудь: «Спаси! Сделай что-нибудь, чтобы его не было, чтобы не родился, смотри, как он меня бьет!» – и показывает синяки на плечах, шрамы. Сначала Креншлин велел ей принести чего-нибудь поесть, хотя бы ячменную лепешку, головка сыра тоже бы пригодилась... Лишь только вышла, тут же конский топот, храпение осаженного жеребца – неужели опять? Ну и озлился Креншлин, узнав голос Марлипонта! Устроил муж погоню за бедной Цевинной, пришлось отодвинуть время на год, и опять – ни еды, ни питья! И так и сяк маневрировал Креншлин, а все равно оказался в окружении: тут и зятя, и Марлипонт со своей шайкой, и сам бургграф, и нищие, и королевские доносчики, и офицерство крепостного гарнизона (обозники уже пушки подтаскивают), и какие-то горожане с наемниками пришли разобраться в споре насчет зерна, и разбойники – уйма народу околачивается вокруг темпорни, пытаюсь взять ее осадой. Уже и старцев собрали, вооружают их, а одновременно на противный случай муштруют толпу молокососов –

учат с мушкетами обращаться и так с обеих сторон времени берут в переплет несчастного Креншлина! От старцев назад не уйти, а от сопляков вперед. И покрикивают: «Ты окружен, ваша милость, выходи на рыцарское слово!» – потому как боятся, чтобы с рычагами чего-нибудь не сделал в отчаянии – и такое бывает.

И действительно, имея перед собой на выбор дыбу (а те уже спорить начали, куда его потом – либо на городскую дыбу, либо в бургграфову, или в Марлипонтову яму, или к зятьям) или самоуничтожение, позор или честную гибель, выбрал недоласканный Цевиннин любовник страшный, зато возвышенный исход. Дал полный назад, сначала все же прикрутив рычаг шнуром к угловой балке: сгину, но время все равно будет мчаться назад, и всех вас в небытие с собой утащу!



Исчез Креншлин быстрее, чем клочок тумана на ветру, а за ним и все остальные. Только когда в давних веках шнур истлел, рычаг сам вернулся в среднее положение. А вокруг темпорни уже чаща разрослась, в мгновение ока появился непроходимый бор, зубры чесались об углы, шли месяцы, отбившийся от стада волосатый носорог, рыча, влез, развалив истлевшие двери, и как дым исчез, боднув рычаг рогом, – вместо дубовой чащи на болотце редкие рододендроны и голосемянные папоротники – скорее

всего, эпоха, называемая каменноугольной – ни человеческих поселений, ни самой темпорни, только особая точка, над которой дрожал и радужно переливался воздух.

Трурль выключил проектор, отсоединил провода, а король, ничего не говоря, уселся на троне, но видно было, что он не в восторге от увиденного. Клапауций откашлялся:

– Я не хотел бы утомлять Ваше Величество и изложу суть дела в двух словах. Вы изволили наблюдать типичный процесс. Интрига здесь не важна, такая или другая – она всегда приводит к подобному финалу. Действия антагонистов стягиваются по все более короткому радиусу к центру, которым является особая точка или место, из которого можно управлять течением времени. Если радиус действия отдельной темпорни сделать большим, то их таким образом на планете будет мало, соответственно мало будет очагов борьбы.

Если радиус мал, то центров много и мест столкновений столько же. Но это, в сущности, ничего не меняет. Можно сделать и так, чтобы самого вожатого времени вызванные им изменения не затрагивали. Но и это ничего нового не вносит. Тогда субъект, который последним останется в темпорне, будет вынужден бежать в самое древнее прошлое, а поскольку власть над временем не может быть безразличной никому из людей, то логика конфликта принудит его бежать в эру полного безлюдья. Таким образом, он исключается из истории и в схватках за темпорню участия больше не принимает.

Если на планете существует только одна особая точка, на ней возникает одно государство, раздираемое центробежными сепаратистскими движениями, а также центростремительной борьбой за овладение властью над временем, причем по рекомендации наимудрейших личностей правители склонятся к тому, чтобы сделать особую точку недоступной ни для кого – например, путем забивания ее взрывами в глубь коры планеты. Если же ввести вместо особых точек путешествия во времени, развивается времяборчество, хронологические эскапады, грабительские экспедиции, появляется темпоральное конквистадорство и хронический гангстеризм, а также попытки монополизировать технику передвижения во времени, правда всегда безуспешные, поскольку изобретенное одними другие рано или поздно смогут повторить.

Если же принять за основу новые времена, то придем к большим войнам во времени. Стратегическая задача при этом окружить противника со стороны будущего и спихнуть его на дно развития, в прошлое, то есть снова начинается регресс. У кого в

руках время, у того и власть. Следовательно, за это и будет вестись борьба, усиленная открытием новых тактик нападения и защиты во временном измерении.

– Выходит, что обратимое время – это источник несчастий, а не блага? – сказал озабоченный Ипполип. – А нельзя ли это как-нибудь поправить?

– Мы пытались ограничить движение во времени демпферами ускорения и другими предохранителями, государь, – ответил Трурль, – но тогда первой целью заинтересованных лиц становится ликвидация этих ограничений.

– Ну, хорошо, а если взять цивилизацию с богатой духовной культурой, с высоким этическим уровнем, либеральную, гуманную и плюралистическую?

– Такую мы легко можем запрограммировать, Ваше Величество, – сказал Клапауций. – Мы не делали этого, считая, что это тоже ничего не даст, но если такова королевская воля, то прошу взглянуть!.. Трурль!

Трурль быстро нажал на какие-то клавиши, переставил несколько вилок, подкрутил усилитель и вздохнул:

– Готово. Включаю.

– Какая матрица?

– Время как функция изменения гравитационной постоянной.

Свет упал на алебастровые плиты. Трурль сфокусировал изображение...

Кресслин наклонился над столом.

– Это она? – спросил он, глядя на серию моментальных снимков.

– Да, – генерал машинально подтянул брюки, – Севинна Моррибонд. Ты ее узнал?

– Нет, тогда ей было десять лет.

– Запомни, она не сообщит тебе никаких технических подробностей. Ты должен только узнать у нее, есть: у них хронда или нет. И находится ли она в оперативной готовности.

– А она это знает? Вы уверены?

– Да. Он не болтун, но от нее не держит секретов. Он на все готов, чтоб ее удержать. Ведь почти тридцать лет разницы.

– Она его любит?

– Не думаю. Скорее, он ей импонирует. Ты из тех же мест, что и она. Это хорошо. Воспоминания детства. Но не слишком нажимай. Я рекомендовал бы сдержанность, мужское обаяние. Ты это умеешь.

Кресслин молчал, его сосредоточенное лицо напоминало лицо хирурга над операционным полем.

– Заброска сегодня?

– Сейчас. Каждый час дорог.

– А у нас есть оперативная хронда?

Генерал нетерпеливо крякнул.

– Этого я тебе сказать не могу, и ты хорошо это знаешь. Пока существует равновесие, они не знают, есть ли хронда у нас, а мы – есть ли у них. Если тебя поймают...

– Выпустят мне кишки, чтобы дознаться?

– Сам понимаешь.

Кресслин выпрямился, словно уже выучил на память лицо женщины на фотографии.

– Я готов.

– Помни о стакане.

Кресслин не ответил. Он не слышал слов генерала. Из-под металлических абажуров на зеленое сукно стола лился яркий свет электрических ламп. Двери резко распахнулись. Вбежал адъютант с бумажной лентой в руке, на ходу застегивая мундир.

– Генерал, концентрация вокруг Хасси и Депинга. Перекрыли все дороги.

– Сейчас. Кресслин, задание ясно?

– Да.

– Желаю успеха...

Лифт остановился. Дерн отъехал в сторону и снова стал на место. К запаху мокрых листьев примешивался и почти приятный щекочущий запах азотистых соединений. «Прогревают первую ступень», – подумал он. Карманные фонарики выхватили из мрака ячейки маскировочной сетки.

– Анаколуф?

– Авокадо!

– Прошу за мной.

Он шел в потемках за коренастым бритоголовым офицером. Черная тень вертолета открылась во мраке, как пасть.

– Долго лететь?

– Семь минут.

Ночной жук взвился, гудя спланировал, винт его еще вращался, а Кресслин уже стоял на земле, невидимая трава стегала его по ногам, взметаемая механическим ветром.

– К ракете.

– Есть к ракете, но я ничего не вижу.

– Я поведу вас за руку (женский голос). Вот тут смокинг, прошу переодеться. Потом наденете эту оболочку.

– На ноги тоже?

– Да. Носки и лакированные туфли в этом футляре.

– Прыгать буду босиком?

– Нет, в этих чулках. Потом свернете их вместе с парашютом. Запомнили?

– Да.

Он отпустил эту маленькую крепкую женскую руку. Переодевался в темноте. Золотой квадрат... Портсигар? Нет, зажигалка. Блеснула полоска света.

– Кресслин?

– Я.

– Готовы?

– Готов.

– В ракету, за мной!

– Есть в ракету.

Один только резкий луч освещал серебристую алюминиевую лестницу. Ее верх тонул во мраке – казалось, что он должен был идти к звездам пешком. Открылся люк. Он лег навзничь. Его блестящий пластиковый кокон шелестел, прилипал к его одежде, к рукам.

– 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Внимание, 20 до нуля, 16, 15, 14, 13, 12, 11, внимание, через 6-7 секунд старт, четыре, три, два, один, ноль.

Он ожидал грохота, и тот, который вознес его, показался ему слабым. Зеркальный пластик расправлялся на нем как живой. Вот дьявол, рот затягивает! С трудом он отпихнул назойливую пленку, перевел дух.

– Внимание, пассажир, 45 секунд до вершины баллистической. Начинать отсчет?

– Нет, с десяти, пожалуйста.

– Хорошо. Внимание, пассажир, апогей баллистической. Четыре слоя облаков, цирростратус и циррокумулюс. Под последним видимость 600. На красный включаю эжектор. Парашют?

– Спасибо, в порядке.

– Внимание, пассажир, вторая ветвь баллистической, первый слой облаков, цирростратус, второй слой облаков. Температура минус 44, на земле плюс 18. Внимание, пятнадцать до выброски. Наклонение к цели ноль на сто, боковое отклонение в норме, ветер норд-норд-вест, шесть метров в секунду, видимость 600 – хорошая. Внимание, желаю успеха! Выброс!



– До свидания, – произнес он, чувствуя всю гротескность этих слов, сказанных человеку, которого он никогда не видел и не увидит.

Он выпал во мрак, его выстрелило в твердый от скорости воздух. Свистело в ушах, он закувыркался, и тут же его с легким треском подхватило и подтянуло высоко вверх, словно кто-то выловил его из мрака невидимым сачком. Он взглянул вверх – купол парашюта был неразличим. Чистая работа!

Он опускался, не чувствуя быстроты падения, что-то завиднелось под ногами. Так светло? Черт, только бы не озерко! Один шанс на тысячу, но кто знает?..

До него донесся мерный легкий шум, когда он коснулся ногами волнующейся поверхности. Это была пшеница. Он нырнул в нее, его накрыла чаша парашюта. Согнувшись, он отстегнул ранец, начал сворачивать странный волокнистый материал, на ощупь похожий на паутину. Он все скручивал и скручивал его, это было труднее всего, и на это ушла масса времени, пожалуй, около получаса. Во всяком случае, в хронограмму уложился. Надеть сейчас лаковые туфли или нет? Лучше сейчас обуться, пластик отражает свет. Он начал рвать на себе оболочку, тонкую, как целлофан, как будто сам себя распаковывал. Вот и сверток, ночной презент. Лаковые туфли, платок, ножик, визитные карточки...



Где же стакан? Сердце у Кресслина заколотилось, как только он нащупал его в кармане. Ничего не было видно, тучи покрывали все небо, но когда он потряс стакан, послышалось бульканье. Внутри был вермут. Он не стал отдирать герметизирующую пленку. Положил его обратно в карман, затолкал свернутый парашют в ранец, впихнул туда же толстые прыжковые чулки, изодранный кокон. Вроде бы ничего не должно от этого загореться... А вдруг? Может быть, выбраться сначала из этой пшеницы? Нет, в инструкции все предусмотрено.

Он отыскал на утолщенном дне футляра рычажок, сунул под него палец, дернул, как будто открывал банку с пивом, бросил футляр на измятое место среди поля и стал ждать. Ничего. Немного дыма, ни пламени, ни искр, ни углей. Осечка? Пошарил рукой и чуть не вскрикнул – там уже не было туго набитого ранца, полного ткани и строп, – кучка теплых, не обжигающих остатков, будто прогоревший бумажный пепел. Чистая работа!

Кресслин поправил на себе смокинг, бабочку и вышел на дорогу. Он шел по обочине, быстро, но не слишком, чтобы не вспотеть. Вот дерево, но какое? Липа? Пожалуй, еще не она. Ясень? Точно? Ничего не видно. Часовенка должна быть за четвертым деревом. Вот придорожный камень. Совпадает, Из ночи выдвинулась побеленная стена капеллы. Он ощупью отыскал дверь. Она легко отворилась. Не слишком ли легко? А если окна не затемнены?

Он поставил на каменный пол зажигалку, щелкнул. Чистый белый свет наполнил замкнутое пространство, блеснула поблекшая позолота алтаря, окно, заклеенное снаружи чем-то черным. Он с пристальным вниманием взгляделся в свое отражение в этом окне, повернулся, поочередно проверяя плечи, рукава, отвороты смокинга, приглядываясь сбоку, не пристал ли где клочок пластиковой пленки. Поправил платочек, приподнялся на носках, как актер перед выступлением, стараясь успокоить дыхание, почувствовал слабый запах погасших свечей – как будто они горели совсем недавно. Он потушил зажигалку, снова во мраке вышел, осторожно ступая по каменным ступеням, и осмотрелся. Кругом было пусто. Края туч местами светлели, но месяц не мог пробиться сквозь них. Было почти совсем темно. Теперь уже ровно шагая по асфальту, он кончиком языка коснулся коронки зуба мудрости. Интересно, что там такое? Уж конечно, не хронда. Но и яда там не могло быть. За какое-то мгновение он успел рассмотреть то, что «дантист» клал пинцетом в золотую чашечку коронки, прежде чем залить ее цементом. Комочек меньше горошины, как будто слепленный из детского цветного сахара. Передатчик? Но микрофона у него не было. Не было ничего... Почему они не дали яду? Наверное, не был нужен.

В отдалении из-за деревьев появился дом, ярко освещенный, шумный, в темный парк лилась музыка. На газонах подрагивал отблеск окон. На втором этаже горели настоящие свечи, в канделябрах. Теперь он принялся считать столбы ограды, у одиннадцатого замедлил шаг, остановился в тени, падающей от дерева, коснулся пальцами проволочной сетки, она, пружиня, подалась; потом слегка наступил на ее нижнюю часть, которая не была сцеплена с верхней, перешагнул препятствие – и вот он уже в саду. Перебегая от тени к тени, он очутился у высохшего фонтана. Тут он вынул из кармана стакан, ногтем подрезал пленку, которой он был заклеен, сорвал ее, смял и отправил в рот, чтобы тут же запить ее маленьким глотком вермута. Теперь, держа стакан аперитива в руке, он, больше не скрываясь, двинулся посередине дорожки прямо к дому, без спешки – гость, возвращающийся с короткой прогулки, перегрелся танцуя и вышел в поисках прохлады... Кресслин поднес к носу платочек, перекладывая стакан из руки в руку, когда проходил между тенями тех, кто стоял по обе стороны двери. Он не видел лиц, чувствовал только провожающие его невнимательные взгляды.

Свет был почти голубым на первой лестнице, тепло-желтым на второй; музыка играла вальс. Гладко, подумал он. Не слишком ли гладко?

В зале было тесно. Он не сразу ее заметил. Ему оставалось сделать два шага до нее. Ее окружали мужчины с орденскими ленточками в петлицах, как вдруг на другом конце зала раздался грохот – кто-то упал. Споткнулся какой-то лакей в ливрее, да так неловко, что поднос, установленный бокалами, вылетел у него из рук, брызгая белым и красным вином. Что за тюлень! Окружавшие Севинну как по команде повернули головы в ту сторону. Один только Кресслин продолжал смотреть на нее. Этот взгляд озадачил ее, хотя и был едва уловим.

– Вы меня не узнаете?

– Нет.

Она сказала «нет», чтобы оттолкнуть, отбросить его. Он спокойно улыбнулся:

– А карего пони помните? С белой стрелкой над копытом? И мальчика, который испугал его мячом?

– Так это вы?

– Я.

Им не понадобилось знакомиться, раз они знали друг друга с детства. Он танцевал с ней только один раз. Потом больше держался в отдалении. Зато уже после

часа ночи они вместе вышли в парк. Вышли через дверь, о которой знала только она. Прогуливаясь с ней по аллеям, он то тут, то там замечал людей, стоявших в тени деревьев. Сколько же их! А он их даже не заметил, перелезая через сетку. Странно.

Севинна смотрела на него, ее лицо белело в свете луны, которая после полуночи все-таки прорвалась сквозь облака – как и ожидалось.

– Я бы вас не узнала. А все же вы мне кого-то напоминаете. Вовсе не того мальчика. Кого-то другого. Взрослого.

– Вашего мужа, – ответил он спокойно. – Когда ему было двадцать шесть лет. Вы, должно быть, видели снимки.

Она заморгала.

– Да. Откуда вы знаете это?

Он улыбнулся.

– По обязанности. Пресса. Временно – военный корреспондент. Но с гражданским прошлым.

Она не обратила внимания на его слова.

– Вы из тех же мест, что и я. Удивительно.

– Почему?

– Как-то... это даже тревожит меня. Я не знаю, как это выразить, – я почти что боюсь.

– Меня?

Он был искренен в своем изумлении.

– Нет, что вы. Но это как бы прикосновение судьбы. Эта ваша похожесть, и то, что мы знали друг друга еще детьми.

– Что же здесь такого?

– Я не могу вам объяснить. Это всего лишь намек на ту ночь. Как будто это что-то предзнаменует.

– Вы суеверны?

– Вернемся. Здесь холодно.

– Никогда не надо убегать.

– О чем это вы?

– Не следует бежать от судьбы. Это невозможно.

– Откуда вам знать?

– Где теперь ваш пони?

– А ваш мяч?

– Там, где и мы будем через сто лет. Все вещи растворяются во времени. Нет лучшего растворителя, чем оно.

– Вы говорите так, будто мы с вами старики.

– Время убийственно для старых. И непонятно для всех.

– Вы думаете?

– Я знаю.

– А если бы?.. Нет, ничего.

– Вы хотели что-то сказать?

– Вам показалось.

– Нет, не показалось, потому что я знаю, что вы имели в виду.

– Что же?

– Одно слово.

– Какое?

– Хронда.

Она вздрогнула. Это был страх.

– Что вы...

– Не бойтесь, прошу вас. Мы оба всего лишь двое посторонних, которые знают это слово, – кроме вашего мужа и специалистов доктора Суови. Тех, из центра Негген.

– Что вы знаете? Откуда?

– Я знаю то же, что и вы.

– Не может быть. Это же тайна.

– Поэтому я и не говорил этого слова никому, кроме вас. Я знал, что вам оно известно.

– Как вы могли это узнать? Вы... очень рискуете. Понимаете ли вы это?

– Я ничем не рискую, потому что мои сведения не более и не менее легальны, чем ваши. С той разницей, что я знаю, от кого вы их получили, а вы не знаете, откуда получил их я.

– Эта разница не в вашу пользу. Откуда вы узнали?

– А сказать вам, откуда узнали вы?

– Может быть, вы знаете и... когда?

– В самое ближайшее время.

– В ближайшее! Вы ничего не знаете! – Она задрожала.

– Я не могу вам сказать. Не имею права.

– А то, что уже сказали?

– Это не больше того, что сказал вам ваш муж.

– Разве кто... Откуда вы знаете, что это он?

– Никто из правительства, кроме премьера, не знает. Премьера зовут Моррибонд. Дальше все просто, не так ли?

– Нет... Но каким образом? А! Подслушивание?

– Нет. Не думаю. Не было нужды. Он просто должен был вам сказать.

– Почему? Не думаете ли вы, что я...

– Нет. Именно потому, что вы никогда бы этого не потребовали. Он должен был сказать, потому что хотел дать вам что-то, что имело для него наивысшую ценность.

– Значит, не подслушивание, а всего лишь психология?

– Да.

– Который час?

– Без шести минут два.

– Не знаю, что станет со всем этим. – Она смотрела в окружающий их мрак. Тени ветвей, плоские и четкие, дрожали на посыпанной гравием дорожке. Временами казалось, что они неподвижны, а дрожит земля. Музыка доносилась до них, будто из другого времени.

– Мы здесь уже неприлично долго, – сказала она, – вы не догадываетесь почему?

– Начинаю догадываться.

– Тайна, которая... сделает это с миром, уже не тайна за минуту до... часа ноль. Может быть, мы перестанем существовать. Вы это тоже знаете?

– Знаю. Но это не должно было случиться этой ночью.

– Именно этой.

– Но ведь еще недавно...

– Да, были кое-какие сложности... Но теперь их уже нет.

Она почти касалась его грудью. Говорила ему, но его не видела:

– Он будет молодым. Он в этом совершенно уверен.

– Ну да, конечно.

– Не говорите ничего, прошу вас. Я не верю, не могу верить, хотя и знаю... Это словно не взаправду, так не бывает. Но теперь уже все равно. Никто не может этого отменить, никто. Или я увижу его молодым, таким, как вы сейчас, или... Реммер говорил, что возможно скольжение в депрессии... Я стала бы ребенком. Вы последний человек, с которым я говорю *перед этим*.

Ее трясло. Он обнял ее, поддержал. Как бы не зная, что говорит, пробормотал:

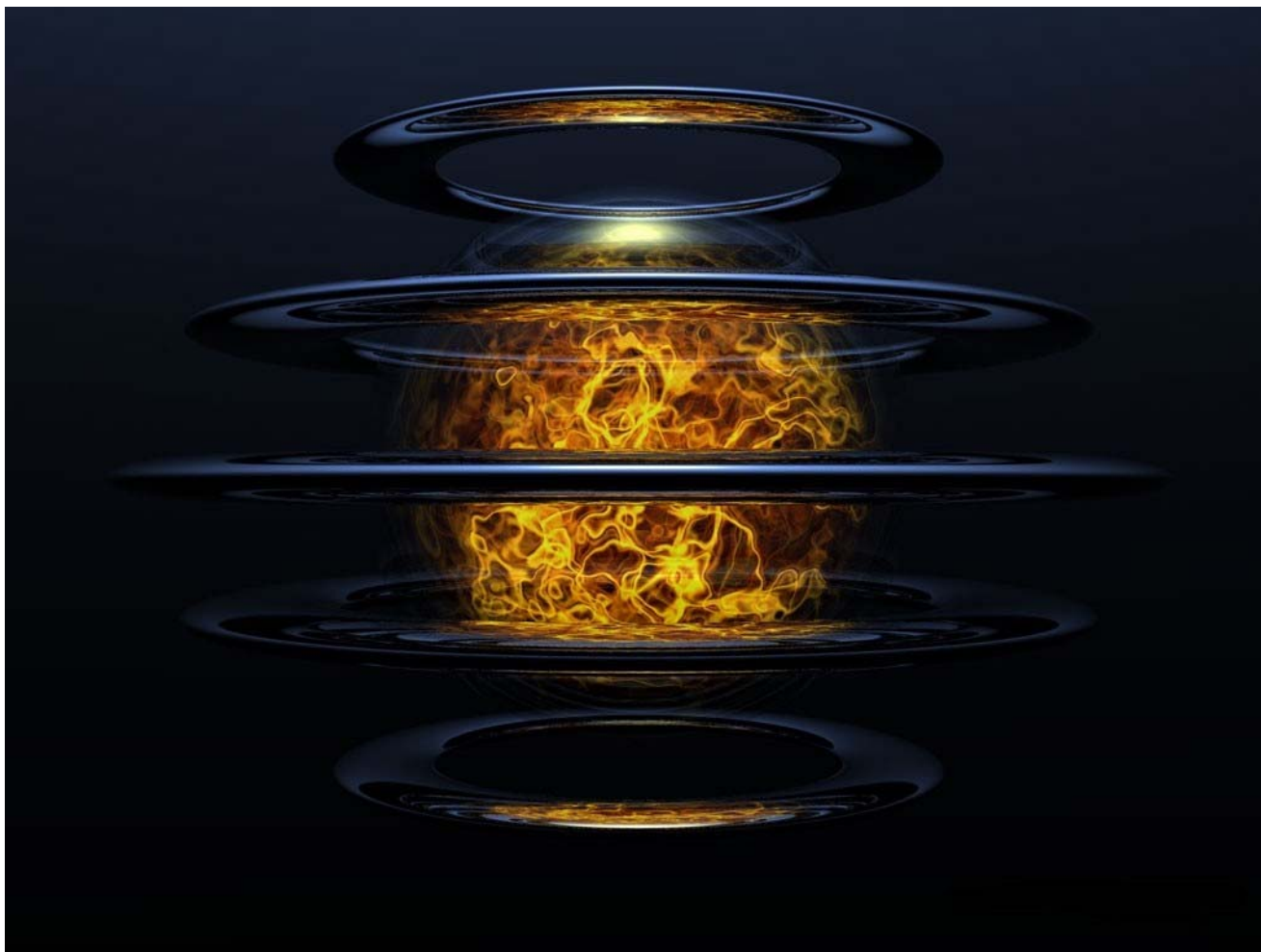
– Сколько времени осталось?

– Минуты... В два часа пять минут... – шепнула она. Глаза ее были закрыты.

Он склонился над ее лицом и одновременно надавил на тот металлический зуб изо всех сил. Ощутил в голове легкий щелчок и провалился в небытие.

Генерал машинально подтянул брюки.

– Хронда – это темпоральная бомба. Ее взрыв вызывает возникновение местной депрессии во времени. Образно говоря, как обычная бомба делает в грунте воронку – пространственную депрессию, так хронда углубляется в настоящее и утягивает или спихивает все окружающее в прошлое. Размер сдвига в прошлое, так называемый ретроинтервал, зависит от мощности заряда. Теория хронопрессии сложна, и я не в состоянии вам ее изложить. Однако принцип уловить легко. Течение времени зависит от всемирного тяготения. Не от местных полей тяготения, а от вселенской постоянной гравитации. И не от самой гравитации, а от ее изменения. Гравитация уменьшается во всей Вселенной, и это как бы другая сторона течения времени. Если бы гравитация не изменялась, время остановилось бы, его вовсе не было бы. Вот как ветер... Где он, когда он не дует? Его нет нигде, потому что он – движение воздуха.



Так объясняется и появление Космоса. Он не был создан, но существовал вне времени, пока гравитация была неизменной, пока не началось ее уменьшение.

С тех пор Космос расширяется, звезды, вращаются, атомы вибрируют, а время идет. Существует связь гравитонов с хрононами, и эта связь использована при создании хронды. Пока мы не умеем манипулировать временем иначе, чем импульсами. Происходит, собственно, не взрыв, а резкое западение. Самый глубокий сдвиг в прошлое происходит в точке ноль.

В 1 час 59 минут Кресслин нажал зуб. Через двенадцать секунд сработали все наши оперативные хронды стратегического назначения. Западение было кумулятивным. Поэтому зона, пораженная хронопредсией, имеет форму почти правильного круга. В пункте ноль депрессия составляет, вероятно, от 26 до 27 лет, эта величина постепенно снижается к периферии.

На пораженной территории у неприятеля были лаборатории, заводы, склады, а также хронопредсивные полигоны. Учитывая, что они начали работы 9-10 лет назад, сейчас там уже нет ничего, что могло представлять для нас угрозу. Поверхность поражения, как вы можете увидеть на этой карте, имеет диаметр около 190 миль.

– Генерал!

– Слушаю, господин министр.

– На каком основании вы утверждаете, что благодаря Кресслину мы упредили хрональный удар неприятеля?

– Приказ гласил: если до удара остается более 24 часов – зуба не трогать. Если ему удастся узнать какие-нибудь подробности операции, касающиеся ее сроков, мощности зарядов, количества хронд, он должен сообщить об этом через особое звено нашей разведки. Если бы враг собирался атаковать нас в течение суток, а Кресслин не смог завязать контакт со связным, он должен был привести в действие автоматический передатчик, закопанный в лесу под Хасси. И только в случае, если не было времени добраться до сигнализатора, а он был информирован о нападении в самое ближайшее время, ему можно было нажать зуб. Подчеркиваю, Кресслин не знал механизма хронопредсказательного западения, он ничего не знал о наших хрондах, не знал даже, что находится у него в зубе. Считаете ли вы, господин министр, мой ответ исчерпывающим?

– Нет. Я считаю, что слишком великую ответственность за судьбы всего мира вы возложили на плечи одного человека, вашего агента. Как мог один человек это решать?!

– Позвольте дать дальнейшее разъяснение. Наша информация не равнялась нулю до заброски Кресслина. Очевидной целью неприятеля должен был оказаться наш хрональный центр. Обе стороны еще не знали степени продвижения работ. Расположение нашего комплекса «С» было им известно, так же как и нам дислокация их хронораторий. Скрыть существование таких огромных комплексов просто невозможно.

– Но вы не ответили на мой вопрос.

– Как раз приступаю. Если провести концентрические круги постепенно снижающегося поражения вокруг нашего центра «С», то Хасси находится в зоне сдвига на десять, а Лейло, как находящийся ближе к комплексу «С», на двадцать лет. Вчера утром мы получили сообщение, что Моррибонд выезжает на инспекцию войск, расположенных на нашей границе. В восемь вечера пришло сообщение, что, вместо того чтобы остановиться в гарнизоне Аретон, он задержался в Лейло.

– Пойдите, господин генерал! Не хотите ли вы сказать, что Моррибонд намеревался использовать тот хрональный удар, который они хотели нам нанести, для того чтобы омолодиться.

– Ну, в общем, да. Таково мнение наших экспертов, Моррибонду было шестьдесят лет, его жене – двадцать девять. Минус двадцать лет у него и минус десять у нее – сорокалетний мужчина и девушка девятнадцати лет. А кроме того, главное и решающее обстоятельство – он был болен миастенией в тяжелой форме. Врачи давали ему два, в лучшем случае три года жизни.

– Это абсолютно точно?

– Да, практически наверняка. Существенную роль тут играло и его своеобразное чувство юмора. Кодовое название операций было «Балкон».

– Не понимаю.

– Ну как же? Ромео и Джульетта. Сцена на балконе. И при этом должен был погибнуть весь наш хрональный потенциал.

– Но получилось наоборот?



– Именно. Вначале я привел вычисления, допускающие, что местом западения окажется наш комплекс «С» согласно их стратегическому плану. Поэтому Моррибонд выслал жену в Хасси, а сам поехал в Лейло, расположенный у нашей границы. Определив ситуацию на совете в генштабе как критическую, мы выслали Креслина немедленно, то есть как можно быстрее. Около полуночи он приземлился под Хасси. Поскольку мы ударили первыми, изохроны депрессии имели порядок спада, обратный тому, который планировал неприятель. Обратный, поскольку это мы попали в их хрональный комплекс.

– Ну и что из того? Моррибонд помолодел меньше, чем того хотел, а его жена – больше. Какое это имеет стратегическое значение? Предлагаю оставить эту тему.

– Это имеет стратегическое значение – и политическое тоже, господин помощник государственного секретаря, потому что приведет к смене человека на посту премьер-министра неприятельского правительства. Западение, вызвавшее депрессию, на самой границе своего действия создаст небольшое концентрическое вспучивание времени вокруг пункта ноль. Это аналогично действию обычной бомбы: центр воронки заглубляется, а вокруг нее образуется кратерный вал. Хронда сбивает настоящее вспять, а на границе западения время передвигается вперед. Лейло как раз и оказался в этом районе. Это значит, что время подвинулось там на девять-десять лет вперед.

– И Моррибонду теперь семьдесят? Великолепно! – захихикал кто-то из стоявших вокруг зеленого стола.

– Нет, учитывая то, что я говорил о его болезни, Моррибонда нет в живых. Есть еще вопросы?

– Мне хотелось бы знать, в какой форме проявляется прошлое после западения хронды? Физики утверждают, что прошлое как точное воспроизведение времени, в которое можно вернуться, не существует.

– Это правда. Западение не приводит к идеальному сдвигу календаря. Не реституирует конкретного состояния, которое существовало в конкретный день, час и минуту. Каждый материальный объект становится моложе, вот и все. Прошлое как совокупность событий, которые уже прошли, не возвращается и не повторяется. О том, абсолютно ли это невозможно, наши эксперты предпочитают не высказываться. Во всяком случае, моделью действия хронды может служить ситуация на футбольном поле, когда один игрок ударит мяч, а другой отобьет ему мяч обратно. Мяч, возвращаясь, не упадет строго на то же самое место. Этот пример уместен еще и потому, что мяч нужно ударить, он не передвигается при помощи микрометрических

винтов. Западение также представляет собой резкое и не поддающееся учету в мельчайших подробностях вмешательство в течение времени.

– Но вы же сами говорили, генерал, что шестидесятилетний человек становится сорокалетним!

– Это совсем другое. Его организм станет моложе на столько лет только физиологически. То же самое произойдет и с любым предметом. Старое дерево помолодеет, превратится в саженец. Но если, к примеру, взять скелет, который сто лет пролежал в земле и из которого предварительно изъято несколько костей, то после западения перед нами будет скелет, который пролежал только восемьдесят лет, но те кости, которые из него взяты, назад не вернутся. Если кто-то недавно потерял ногу, то даже после западения с четвертьвековым ретроинтервалом он ее назад не получит. Поэтому хронда не осложнена так называемыми причинными парадоксами, которые связаны с идеей путешествий во времени.

Организм при западении реституирует свою жизнеспособность в границах, определяемых его физиологическими возможностями.

– А машины? Книги? Здания? Чертежи?

– Здание, возведенное сто лет назад, изменится незначительно. Однако постройка из бетона, который затвердел восемь лет назад, окажется грудой песка, цемента и камней, ведь бетон не может существовать в виде бетона раньше того момента, когда он возник из смеси соответствующих ингредиентов. Это касается любых объектов, а также и машин.

– Уверены ли вы, что противник не располагает уже потенциалом для контрудара?

– Стопроцентной уверенности нет, пессимистическая оценка указывает, что мы уничтожили 80 процентов их хронопотенциала. Оптимистическая, что до 98 процентов.

– Нельзя ли хронды использовать для каких-нибудь других целей кроме уничтожения неприятельских хронд?

– Можно, господин председатель, но уничтожение хронд противника, а также их производственной базы является абсолютно первоочередной задачей. Сохранив наш потенциал неприкосновенным, мы получили стратегическое и тактическое превосходство. Разумеется, господа, вы понимаете, что в настоящий момент я ничего не могу вам сказать о том, как мы намереваемся использовать это преимущество.

Вопросов больше нет? Благодарю за внимание. Что это там? Громкоговорители?
Прошу тишины!



– Внимание, внимание! Тревога первой степени. Локаторами замечен сход спутников врага с троянских орбит в количестве четырех единиц. Антиракеты противобаллистической обороны первой линии перехвачены противником. Один спутник сбит прямым попаданием. Три спутника в радианте дзета снизились до первой космической. Действия локаторов затруднены ионным облаком, выброшенным симулирующей головкой первого уничтоженного спутника. Внимание, внимание! Наземные индикаторы в непосредственном взаимодействии со стационарными спутниками нашей обороны будут сообщать о вероятных целях, намеченных противником. Внимание, цель номер один: комплекс «С», предельное отклонение 20-25 миль от точки ноль. Внимание, цель номер два: главный штаб, предельное отклонение 7-9 миль от точки ноль.

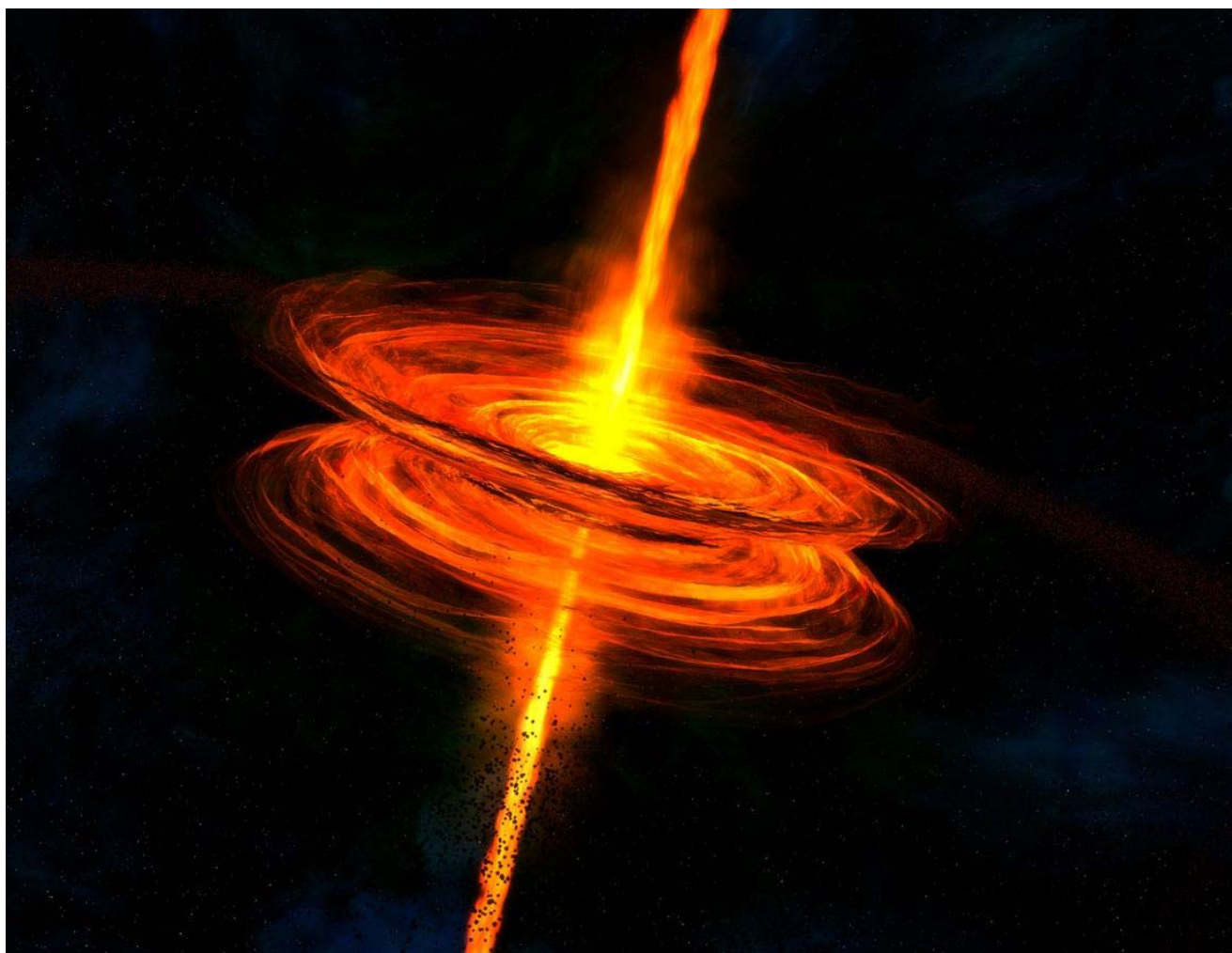
– Двадцать процентов их хрономощи летит нам на голову! – завопил кто-то. Сидевшие за зеленым столом вскочили. Загремели кресла, одно упало. Где-то поблизости жалобно завывала сирена.

– Господа, прошу оставаться на местах! Западение не представляет угрозы для жизни. Кроме того, нет способов укрытия или изоляции. Прошу сохранять спокойствие!
– надрывался генерал.

– Внимание, внимание! Второй спутник уничтожен в ионосфере ракетным залпом. Два оставшихся спутника вошли в мертвую зону противоорбитальной обороны. Изменяют траекторию по данным локаторов ближней обороны с семидесятикратной перегрузкой.

Внимание! Два вражеских спутника на оси целей номер один и номер два. Входят в оптический периметр непосредственного поражения. Внимание! Объявляю тревогу наивысшего угрожаемого положения. Восемь секунд до ноля, семь до ноля. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Внимание. Но...

Изображение погасло, и воцарилось молчание.



– И это тоже не слишком воодушевляет, – вздохнул Ипполип. – А что, если бы время могло разветвляться? Вроде как река в дельте. И если бы его можно было регулировать, как систему каналов? Как вы думаете?

– Мы и это пробовали, – ответил Трурль. – Получается пандемонимум. Появляются приватные времена, которые отпочковываются в виде заливов и лиманов, беря начало из воплощенных снов. Возникает подрывная хронавтика, угрожающая социальным распадом и потому преследуемая властями. Вводятся удостоверения личной актуальности, ретрохрональные налоги, хроничия, интерхрон, похроничные войска, развивается межвременная контрабанда, шайки, воскрешающие казненных преступников, часокрадство и комитеты календарной безопасности. Начинается массовая эмиграция в другие времена, давка; все стремятся протолкнуться в модные эпохи. Равноновременники пытаются выселить диких времякопателей, и всем Бог знает почему представляется, что в другом времени лучше. Дело доходит до укрывания, накопления и присвоения ценных моментов, возникает секулярная биржа, изготавливаются фальшивые времена или времена, замкнутые в круг, хрональные ямы и тюрьмы. Создаются перпетуаторы, эротические, политические и мистические, для извлечения чудесных мгновений. Толпы эмигрантов, контрэмигрантов и реэмигрантов мчатся сквозь столетия в противоположных направлениях, стучаясь лбами при встречах. Доходит до так называемых военных конвульсий, история начинает хромать на знаках препинания. К примеру, хрональные убийцы убивают в колыбели императора враждебного государства. Тот не вырастает, не становится императором, не одерживает победы, и таким образом, отпадает необходимость удушения его в пленках. И тогда он все-таки рождается, вырастает, ведет победоносные войны, поэтому снова высылают в прошлое убийц – и так без конца. Мы открыли восемьсот видов так называемого *circulus temporalis vitiosus*⁶, но я думаю, что их может быть бесконечно много. Ну, а хроноизвращения: футурофилия, часовой фетишизм, *delectatio temporosa*⁷, автопедофилия, то есть преследование развратными старцами самих себя в детском возрасте, а хронализм? А демпинговый импорт достижений техники будущего, который приводит к кризисам? А похищения во времени? Мы обнаружили, что слишком мощные аристократические группы, которые заправляют всей темпоральной стратегией, так растягивают в разные стороны настоящее, так перетаскивают его хронотракторами на свою сторону, что время рвется и между прошлым и будущим образуется провал, известная всем Черная дыра! По этим дырам в небе и распознается высокий разум, Ваше Величество, я мог бы часами так перечислять. От всей души не советую...

⁶ Порочного временного круга (лат.)

⁷ Упоение временем (лат.)

– Хорошо! Вы убедили меня, что обратимое и делимое время – неблагоприятное свойство Творения, – сказал явно раздосадованный король. – А все же пошевелите мозгами. Смелее! Подумайте хотя бы вот над чем. Нынешний мир ведет себя более или менее индифферентно. Не слишком благоприятствует своим обитателям, но и не слишком их угнетает. Это равнодушие легко порождает фрустрацию. Как известно, холодное безразличие родителей калечит психику детей, а равнодушный холод Вселенной – и подавно! Разве не должен быть мир внимательным, заботливым, на каждом шагу охранять своих обитателей, предупреждать каждое их желание? Одним словом, не они к нему, а он к ним должен приспосабливаться! Ну, скажем, усталый путник падает со скальной гряды, потому что он поскользнулся. У нас он разобьется вдребезги. А в новом мире место, на которое он должен упасть, быстренько размягчится в пух. Путешественник отряхнется – и снова в путь. Ну как? – Король даже засиял. – Разве это не прекрасно? Почему же вы молчите?

– Потому что благорасположение – вещь относительная, – сказал Клапауций. – Возьмем того же путника. Может быть, ему жизнь опостылела и он сам бросился в пропасть? Наверное, в этом случае камням следовало бы остаться твердыми? Но это уже подразумевает чтение мыслей.

– Допустим. Почему бы нет, если мы ничем в нашем творчестве не ограничены? – отпаривал король.

– Почему бы нет? Предположим, наш путник несет важную весть. Если он ее донесет, ауриды победят бенидов, а если не донесет – войну выиграют бениды. С точки зрения ауридов камни должны размягчиться, а по желанию бенидов должны стать еще более твердыми. Но это еще не все. Если этот странник пройдет через горы, он встретит женщину, которая родит ему сына. А сын потом расценит поступок отца как деяние низкое и подлое. Он назовет его предателем, ибо я забыл сказать, что путник сам был бенидом. Сыновнее обвинение так потрясет всех, что, окруженный всеобщим презрением, путник повесится. Если милосердная ветвь обломится, он бросится в воду. Если благожелательная вода выбросит его на берег, он примет яд. И так далее. Как долго заботливый мир будет усугублять его душевные муки, отсрочивая его физический конец? Может быть, лучше бы он сразу повис? Но если так, то не лучше было бы ему сгнуться в пропасти, не оставив потомства, чем повеситься от укоров сына? Я знаю, что пожелает возразить государь: все дело в том, действительно ли странник был предателем, и еще в том, какая сторона заслуживала победы. Ну, предположим, что справедливый человек пожелал бы победы бенидам как более слабо вооруженным, но благородным по духу. Тогда то, что путник предал своих и

обеспечил победу ауридам, плохо. Однако дело на этом не кончается, ибо я пересказываю не повесть, а всеобщее бытие, которое конца не имеет. Воцарившись над бенидами, ауриды через сто лет, сами того не замечая, поддались влиянию побежденных. Тогда они поняли всю ненужность военного насилия и заключили с бенидами союз равных с равными, который принес благо обоим народам. Выходит, что камни не должны были размягчаться. Параллельно можно рассмотреть, что будет, если путник погибнет. Тогда победят бениды. Эта победа превратит мирный народ, поощряющий искусства, в грубых вояк. Искусство придет в упадок, начнутся завоевания, и через сто лет из справедливых людей получатся грабители, против которых в конце концов восстанет вся планета. И что же получается? Учитывая такой оборот событий, скалы должны были все же смягчиться, хотя на них и летел предатель. Поскольку события, о которых я говорю, должны получить дальнейший ход, то в зависимости от того, смотрим ли мы на последствия падения через пять, пятьдесят или пятьсот лет, скалы должны были бы то размягчаться, то твердеть. А потому благожелательный мир должен, увы, окончательно свихнуться, пытаясь делать вещи, взаимно противоположные.

– Значит, так? Ну тогда выдумайте что-нибудь получше, – уже не на шутку разгневался король Ипполип. – За этим я вас и вызвал! Почему у вас существа, которыми вы заселяете пробные вселенные, точь-в-точь такие же, как и мы?

– Его Величество король изволит намекать, что мы занимаемся плагиатом?

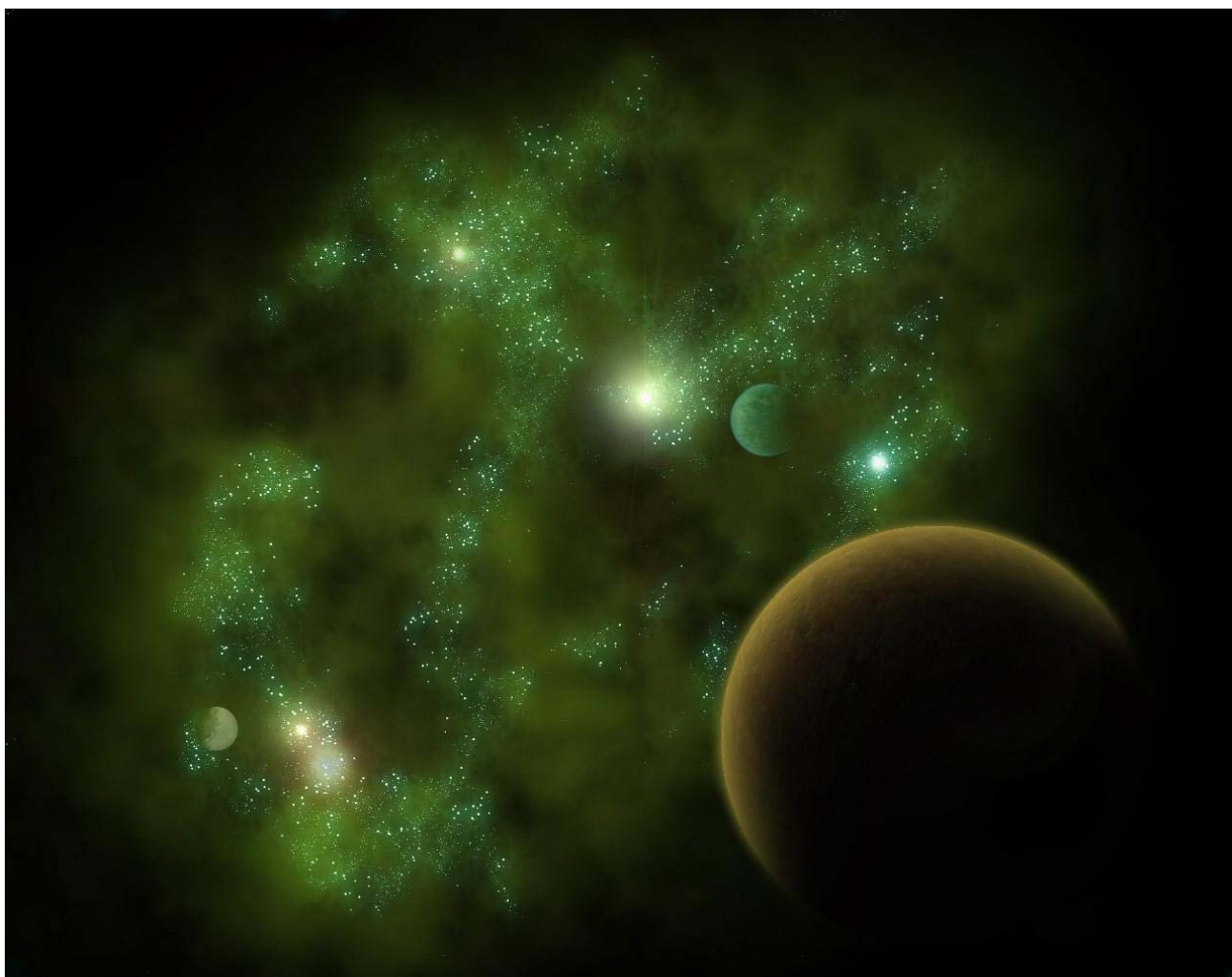
– промолвил в ответ Клапауций, сдерживая растущее возмущение. – Что ж, государь прав. Но следовало бы Его Величеству знать, что делаем мы это не от недостатка, а от избытка знания. Ничем не возмущаемый покой сохраняется только в неразумных сообществах. Крутятся они там, как в улье, не жалуясь на экзистенциальное неравенство. Никаких раздоров, никаких вредных нововведений, только гармония и порядок. Мы не заполняем наших миров такой гармонией, потому что сам король возразил бы, что эта гармония от безмозглости. Королю нужны вселенные, полные разума. Того же желает Бог знает почему каждый творец. Но ведь разум – это ненасытность, потому что он создает бесчисленное множество возможностей для деятельности, которые часто друг друга исключают. Орел у разума – гениальность, а решка – чудовищность, потому что он свободен внутри себя без границ в обе стороны. Ясное дело, высшую гармонию разума можно запрограммировать. Программа, проявляющаяся подсознательно, пропитывает сознание самыми возвышенными стремлениями. Однако все почему-то отвергают гармонию, потому что она, видите ли, навязанная, ненатуральная, поддельная,

поскольку пришла она с перфокарты, а не развилась спонтанно. Дух просветляется оттого, что просвещают его тайком подсунутые идеалы. А это уже заводная игрушка, несвободное развитие бытия! Что ж, можно ввести две противоположно действующие программы: одну – совращающую, а другую – наставительную, чтобы разум мог самоопределяться в их столкновении и конфликте, но тут нам возражают, что и это не подходит, потому что хотя распутье и существует, но концы путей predetermined заранее. В таком выборе свободы и самоопределения не больше, чем у штанов: гравитация тянет их вниз, а подтяжки – кверху. В философских сочинениях можно встретить утверждение, что дух прежде всего должен быть свободным. Что же такое свобода? Бесконечность шансов? А где же ее больше всего, как не в безмерности? Там, где возможно все, потому что ничто заранее не запрещено? Разумеется, и такое можно сконструировать. Но тогда вместо чудесных свершений мы погрязнем в блужданиях. Потому что задание обусловлено кричащими противоречиями. Мы должны создать широкую узость, сытый голод, святой грех, вершину, с которой нельзя упасть, а поскольку нас ничто не сдерживает, то мы должны одарить сотворенных океаном свободы, чтобы они добровольно черпали из него по капельке. Хотя никто не заказывал у нас до сих пор вселенной, но осмелюсь заметить, что у нас было достаточно весьма требовательных клиентов, таких разборчивых, что они оказывались строже в оценке наших произведений, чем произведений природы. Поэтому в нашей мастерской висит плакат, обращенный к заказчикам, который гласит: «Уважаемый клиент! Прежде чем начать обвинять нас во всех грехах, приглядишься к произведениям, исполненным природой, посмотри на себя и подобных тебе. Почему ты не гнушаешься ими так же, как тем, что заказал у нас? У них ты называешь каждый дефект результатом искушения, случайности; ошибкам, допущенным в них, ты придаешь высокий смысл приговора небес, трагедии, тайны, может быть, позорной, но великой, а потому все-таки возвышенной. То, что существует, ты всегда немножко уважаешь, даже если оно ни к черту не годится, а то, что предлагаем мы, не заслуживает ни малейшего уважения, поскольку появилось не из неведомой бездны, а только от нашей счетной линейки и угольника».

– Ну, хватит! Довольно тут рассуждать! – нетерпеливо прервал его король. – Тоже мне диатриба! Извини меня, но я вызывал конструкторов, а не самохвалов! Покажите мне ваших неосуществ. Давайте их сюда, и поговорим по-деловому.

– Мы творим не на пустом месте, – спокойно отвечал Клапауций, – но тот, кто ждет, пока от самослипания частичек из Космоса вынырнет сознательное существо, ничем не рискует, но и не имеет никаких заслуг. Давние конструкторы, добиваясь

наибольшей социальной солидарности, строили существа полуобщего типа, такие, которые сообща располагают телами. Память об этом сохранилась в сказках, где рассказывается о многоголовых драконах. Но дело тут не в их драконовских свойствах. Многоголовцы перегрызут друг другу горло почти что сразу. Мирмександр Декстридский, чтобы избежать конфликтов, частично обобществил разум созданных им существ. Он соединил глубины их духовной жизни и на этой базе вырастил индивидуальные сознания. Связь была дистанционной, а потому незаметной, и эти существа на первый взгляд казались совершенно автономными. Поскольку сознание питается собственной глубиной, а она была у них общей, то жили они в полном согласии. Дела у них шли превосходно. Но как только они догадались об этой связи, а в конце концов они должны были это открыть, занявшись наукой, полученное знание обратилось общим несчастьем. Ибо они поняли, что овладеть подсознанием одного, хотя бы последнего, нищего – значит получить власть над всеми сразу. Кому это было нужно? Ха! Легче сказать, кому это было не нужно! Конечно, это частный случай, но значение имеет всеобщее. Была ли когда-нибудь общность душ или нет, но залезание в душу всегда переходит в манипуляцию, проводимую, конечно, с благороднейшими целями.



Но Вашему Величеству, который еще ребенком играл в «кибернетики» и в «малого мозговничего», должно быть известно, как легко переделать автомат в садомат или в автосадомазomat и что делают умственные агрегаты, когда они получают самосознание, как они набрасываются на собственный машинный разум, чтобы его подзуживать, поддразнивать и выворачивать наизнанку все более искусными методами философской церебеллистики, что всегда кончается либо расщеплением сознания, либо коротким замыканием на себя. И в самом деле, зачем раскапывать звезды, подвергаясь ожогам третьей степени, зачем кидаться на другой конец Вселенной, зачем шевелить пальцем, когда маленькая проволочка, вставленная в мозг, все превосходно уладит? И вправду, история церебеллистики, дебри которой поглотили во многих галактиках множество разумных, многообещающих цивилизаций, должна быть записана для всеобщего предостережения! Вся эта индустрия счастья, все эти усилители похоти, или вожделяторы...

– Нет, это просто невозможно! Что ты тут плетешь? К чему это? Король и сам это знает! Говори по существу! – не выдержал Трурль.

– К чему я клоню? Король это сам знает? И при этом ставит под сомнение сохранительную суть наших проектов! Я как раз объясняю, что не следует впасть в ту ошибку, которую ты совершил однажды со своей счастьестремительной инженерией.

– Замолчи! Как ты смеешь клеветать на меня в высочайшем присутствии? Вот я тебя сейчас!..

Видя, с какой ненавистью меряют друг друга взглядом верные друзья, король выступил в роли посредника, чем ликвидировал ссору в зародыше и одновременно положил конец разглагольствованиям Клапауция.

– Не падайте духом! – сказал король благожелательно. – Я знал, что выбрал наитруднейшую из задач, но я доверил ее не кому попало. Идите же, мои дорогие, посоветуйтесь без скандалов и возвращайтесь ко мне, когда сможете продемонстрировать мне лучший мир.

И они пошли, бранясь на ходу и наскакивая друг на друга и размахивая руками, к удивлению придворных. Прошли они так через королевскую оранжерею, через дворцовые сады, через пять мостов на пяти городских каналах и даже того не заметили.

– Не в том суть, – говорил Трурль, – чтобы создать мир, застегнутый на все пуговицы, мир, очищенный от катастроф, в котором никто не мог бы никому ничего ни

вонзить, ни вырвать. Это педантизм, лакировка Божьего дела. Дело не в том, чтобы вычистить его до глянца, а в том, чтобы превзойти автора в исходной концепции!

– Оставь при себе эту риторику! Ты не перед королем стоишь! – оборвал его Клапауций.

– И все-таки! В Божьем варианте одно существо не может достигнуть всех совершенств одновременно. Если я о чем-нибудь мечтаю или к чему-то стремлюсь, то этого не имею, а если имею, то не стремлюсь и не мечтаю. Я не могу упиваться надеждой, если она сбылась, а между тем сладость надежды совсем иная, чем радость обладания! Таким образом, бытие принуждает нас к постоянным отречениям. Если я ожидаю любовных объятий, то, очевидно, меня никто не обнимает, а если обнимает, моему разыгравшемуся любовному воображению уже нечего ожидать. Я не могу обнимать и не обнимать, иметь и не иметь. Что достигнуто, то мне безразлично, а что бесценно и неизменно, то недостижимо. Так наше бытие качается между чрезмерной уверенностью и излишним риском, то есть между скукой и страхом.

От голода до пресыщения один шаг. И мало того. То, что мы воображаем, всегда наше и уже потому слишком гибко, податливо и беспочвенно, а что материально, реально, безотносительно, то не зависит от нас – прямо до отчаяния. Дух слишком зависим от меня, материя слишком независима!

– Что ты плетешь?! – скривился Клапауций, но Трурль не унимался.

– Переводя эту фатальность творения на язык строительной практики, мы отметим три ограничения свободы в бытии: материальное, временное, пространственное. Либо что-то является мыслью, либо вещью – это первое принуждение. Вторая несвобода – местоположение. Если что-то где-нибудь находится, то там же не имеет права находиться ничто другое. Третья неволя

– это насилие, которому подвергает нас время, потому что мы в нем заключены: если нас выпустит среда, то поймает четверг, после четверга придержит пятница – вечная муштра, настоящая казарма; равный шаг, ни вперед, ни назад – замечали вы, так же как и я, эту военно-строевую природу времени? Ни на волос нельзя отклониться от настоящего! Я считаю, что мы должны ликвидировать все эти ограничения. Что ты скажешь?

– Ты хочешь ликвидировать время, пространство и Материю?

– Именно так!

Клапауций еще колебался, но его захватил радикальный подход Трурля, а когда он огляделся вокруг, то обнаружил, что они стоят в песочнице среди детей, ибо их как раз туда и занесло, и принялся чертить пальцем на песке контуры нового мира, а Трурль все нападал на его схемы, дети тоже мешали, тогда они поднялись и поспешно отправились в мастерскую. Прошла неделя, потом вторая, третья, они не подавали признаков жизни. Нетерпеливый Ипполип послал главного думчего на разведку, потом самого министра мыслительной промышленности, а когда и самого министра не пустили на порог, то король лично отправился к конструкторам. Застал он их, сильно возбужденных, посреди страшно захламленного зала, между штабелями аппаратов, поставленных как попало, в путанице проводов, а когда они не проявили особого желания давать объяснения, он насел на них по-королевски и настоял на своем – только тогда они посвятили его в свои тайны.

– То, что существует, мы отбросили полностью! – сообщил ему Трурль. – Если можно так выразиться, мир первоначально был навязан сотворенным без всякой предварительной консультации, поскольку творец решил их, сотворенных, этим миром раз и навсегда осчастливить. А что, если они желают быть осчастливленными не по его методике, а совсем по другой? Или вообще хотят отказаться от финального счастья? А может, в один момент хотят, а в другой – не хотят? А может быть, один по этому поводу придерживается одного мнения, а другой – другого? Что тогда? Авторитарно навязывать конформизм? Четко обозначить дороги в рай и в ад, стричь всех под одну гребенку, карать непокорных оригиналов и награждать оппортунистов? Мы поступили совершенно иначе. Сначала мы выбросили из Вселенной материю, пространство и время.

– Не может быть! – Король был поражен. – Зачем?. И что вы дали взамен?

– Зачем? – Трурль потряс головой. – Затем, что дух хочет, а не может, и материя может, но не желает. Лучезарный король этим озадачен? Но это же бросается в глаза! Что можно себе представить расточительнее Космоса? Миллиарды миллиардов огней, горящих и тлеющих в вечности, – и что из того? Что это дает? Чему это служит? Богу? Но ведь его вечное сияние не измеряется в люменах и светит в ином измерении! Может быть, нам? Тоже мне служба! Материя может много, разумеется; если бы не могла, то и нас не было бы, но из такого разбазаривания сырья, вулканического растраниживания, после стольких ошибочных, путаных, эпилептических мучений она рождает щепотку здравого смысла! К чему такой размах? Для драматического эффекта? Но ведь сотворение не спектакль.

А дух, в свою очередь так увязший в материи, закованный в ней трагикомический узник! Рвется вон из тела, а в это время тело его рвет и само нарываяет, пока не распылится или не растечется... С этической точки зрения это непристойно, а с эстетической – отвратительно. И потому мы выкинули материю-идиотку и духа-узника, решив создать нечто осредненное между их крайностями. Наш материал – аматерия. *Nomen omen! Amo, Amas, Amat*, не так ли? *Ars amandi*⁸ – не какая-нибудь там прана, дао, нирвана, студенистое блаженство, равнодушное безделье и самовлюбленность, а чувственность в чистом виде, мир как эмоциональная привязанность молекул, уже при рождении хозяйственных и деловитых.



Электроны, протоны у нас вращаются друг вокруг дружки не от того, что есть силы, кванты аматериального поля, а оттого, что просто любят друг друга! Теперь понимаете, что поступками аматериального существа движет не физика, а симпатия? Вместо трех законов Ньютона – притяжение нового типа: нежность, забота, любовь. Вместо закона сохранения количества движения – правило сохранения верности, что

⁸ Искусство любви (лат.)

же касается теории относительности, то чувства вообще относительны, только у нас вместо наблюдателя – возлюбленный, а вместо факта – такт. А поскольку мы отказались от бранных тел, то и в эротике у нас больше нет физики – никакого трения, давления, смазки, сжатия – таким образом, по самой природе любовь в нашей вселенной должна быть идеальной!

– Ну, а время? А пространство? – допытывался заинтригованный Ипполип.

– Времени мы придали покорность и эластичность, чтобы оно слушалось тех, кому это необходимо. Эластичность эта представляет собой так называемый трюм. Вместо казарменного существования, вместо парада часов, минут, секунд в неумолимом календарном режиме под барабанную дробь часового механизма у нас каждый может трюмить неравномерно, как ему нравится. Кто спешит, тот струмит из среды прямо в субботу, а кому нравится четверг, может четвертовать себе досыта. А пространство мы убрали полностью, потому что его размерная категоричность содержит в себе серьезную угрозу для живущих.

– Да? Я как-то не заметил.

– А как же? Во-первых, в нем помещается всегда только что-то одно, а когда туда же проникают и другие вещи, происходят несчастья. Например, если свинцовая пуля летит туда, где кто-нибудь стоит, или когда два поезда пытаются занять одно и то же место. А огромные расстояния, которые приходится преодолевать? А теснота – информационная, демографическая и порнографическая? Дух непространственен – его унижает протяженность тел, которая вынуждает хватать, обнимать, тискать, причем заранее известно, что рано или поздно все равно придется отпустить.

– Ну хорошо. И как же вы все это устроили?

– Пространственность заменили вместимостью, благодаря которой каждый может быть везде сразу и даже там, где уже есть другие. Что же касается существ, вернее, существа, то мы пока создали только одно, взяв за основу индивидуализм без эгоцентризма, либерализм без анархии, а также идеализм без солипсизма. Индивидуализм, а следовательно, личность, а не какое-то там совмещенное сознание, втиснутое в общее, неизвестно чье. Конкретное существо, но не самолюбец, занятый только своей особой, скорее, даже вселичность, потому что простирается безгранично. Ото всех в нем понемножку. Он не везде одинаков – здесь его больше, там меньше, а где его что-то заинтересует, туда его сразу наплывает много, то есть создаются очаги концентрации, вызванные желанием или возвышенной решимостью. Иначе говоря, духовная сосредоточенность вызывает физическое сгущение.

Ведь и самый большой гений местами бывает жидким. Между прочим, это разрешает и проблему транспорта, потому что не надо никуда путешествовать. Только помысли о цели – и тут же начнешь там сгущаться и подтягиваться до состояния насыщения и удовлетворенности.

– Как я понял, мир этот у вас уже готов? Что же вы запираетесь и не впускаете моих посланцев? Что? Опять какие-нибудь объективные трудности? Говорите же, не то разгневаюсь!

Трурль посмотрел на Клапауция, Клапауций на Трурля и – молчок. Видя, что ни одному говорить не хочется, показал Ипполип пальцем на Клапауция:

– Говори ты!

– Возникли неожиданные сложности...

– Какие? Ну что мне, по слову из вас вытягивать?

– Сложности неожиданные... Творение, в общем, удалось, и мы можем показать его даже сейчас, но чем дальше, тем меньше понятно, что в нем и как происходит...

– Не понимаю; Что-нибудь портится?

– В том-то и дело, что мы не знаем, портится ли, и не знаем, как бы это можно было узнать, государь. В конце концов в этом легко убедиться. Трурль, включи проектор...

Трурль наклонился над самым большим аппаратом, установленным на двух колченогих столиках, что-то там нажал, и на побеленную стену упал конус света. Король увидел радужную гусеницу на выгоне или глазунью из павлиньих яиц, но быстро сориентировался, что это и есть Крентлин Щедрый, едва зачатый сознанием вездесущий, ни телесный, ни духовный, потому что как раз осредненный. Рос он как на дрожжах, ибо размышлял о себе, а чем больше он размышлял, тем больше его было. Когда он пытался как следует сосредоточиться, то от недостатка сноровки часто расползлся, а поскольку Природа не терпит пустоты, эти дыры тут же заполнялись аффектом. Весь он наливался преданностью и чувствительностью, каждым своим размышлением раздвигая радужные горизонты, ибо все психическое там становилось сразу и метеорологическим. Досаждали ему только ложные влюбленности – амурные миражи, потому что приливы одних его чувств наталкивались на наплывы других, ухаживая за ними по недоразумению, и так все время, встречая в себе только себя, местами он по уши в себя же влюблялся. Потом он переживал тяжкие разочарования, когда убеждался, что это все только он сам, а он все же не был самолюбцем и вовсе не

себя хотел полюбить, потому все горизонты ему заволочило тоской. И так как кругом был только он сам, это и определило его пол и он стал самцом, отчего тут же бурно возмужал. А поскольку все индуцируется с противоположным знаком, он сразу же решительно возжелал иносущества женского пола. Стал воображать себе девиц-зоряниц с неопределенной, но весьма понятной клубистостью, и ходила в нем та любовь к неведомым раскрасавицам как стихия, и главным образом там, где он почти прекращался.



Так, по крайней мере, можно было понять эти климатически-психические и интеллектуально-метеорологические явления. Мысли его становились все более темными, прямо черными и оседали в наболевшей психике, иногда доходя до размеров философских камней. Потому что так выглядели плоды безнадежных медитаций – будто окаменелый осадок на дне души. Но если это так, то почему он уронил несколько самых крупных на выгон, тихо мигая заревым блеском, а потом пустил копоть и прояснился с явным удовлетворением? Может быть, это был способ избавляться от душевного балласта? И так он с собой боролся, так его бросало из стороны в сторону от неудовлетворенных чувств, так выставлял из себя друголы в

разных фазах упоительной консолидации, что надорвался где-то на периферии и выронил из себя нечто вроде облачка-кумуляса, отделенного вихревой стеной от грозового фронта. Образование это некоторое время влачило за Крентлином, пока не взялось за самоурегулирование. И тогда оказалось, что он выделил не ту единственную другогу, о которой мечтал, а полтреть их, Звоину, то есть Цеву, или Цевинну, несомненно, женскую, а также подобных близнецам-полумесяцам двух ее мужей. Поначалу они были как муравьи, никакого пола, но женственность Цевинны индукировала в ней двоемужество. Собственно, их было не два и не полтора, а скорее, разветвенец, как бы переходный, – но таким уж он и остался как Марлин-перемычка-Понсий, или же Пунцкий, потому что то и дело краснел.

И тут все жестоко перепуталось. Крентлин даже и не знал, что сам явился причиной своей беды, что к двумужнице страстью разгорелся. Не заметил даже, как, пылая, терзаясь приступами ревности, особенно в мысленной погоне за Цевинной, выделяет очередные существа, калибром и форматом соответствующие резкости чувственных перенапряжений.

Так от его любовных метаний и заселялся этот мир. Никто там никому не вредил, тем более что они могли легко и даже фривольно мимоходом проплывать сквозь друга друга, задерживаясь разве что на особенно интересной идее проникаемого, и то мимолетно, без видимых последствий. Но все-таки что-то отягощало их души, потому что мало кто из них не ронял тех черных, как чернильные орешки, конкрементов загустевших мыслей – может быть, плодов слишком холодной и потому застывшей рефлексии. И этого было достаточно, чтобы выгоны покрыла морена – настоящая мировоззренческая свалка. А то, что происходило над ней, понять было трудно. Крентлин во время, казалось, случайных встреч просвистывал сквозь ветреницу Цевинну, как блуждающий вихрь, будто ее не замечал, но это была только видимость. Он ощущал сумасшедшую дрожь, чувствуя, что она то тут, то там ему симпатизирует, что местами он ей вовсе не безразличен. Тогда он начинал сладостно густеть в ее пределах, но она делала тщетными эти окклюзии, давая бедняге холодный афронт.

И однажды Крентлин, уходя, куда мысли понесут, после такой диффузии, которая обернулась конфузней, выронил облачко, очень малозаметное, которое кружилось некоторое время, очевидно, в нерешительности, хватит ли его при такой щуплости на персонализацию. И потом это существо так и не выросло, а только удлинилось, и юркое, как юла, то и дело проскальзывало в Крентлина, то ли с целью подстрекательства, то ли чтобы побыть в ком-то более значительном. А потом этот прихлебатель отрывался и бывал меньшинством у Цевинны. Мародер? Непрошенный

гость? Осмотический отшельник? Злонамеренный нахал? Неизвестно. Во всяком случае, досаждал и ей, и ему, так что они отряхивались после его посещения. Зато Марлина-перемычку-Понсия этот странный переуженец избегал как огня.

Тем временем в поведении Крентлина произошла перемена. Ни с того ни с сего он так впух в двоюмужа, так в нем разлился, как будто собрался вытеснить его из бытия. Но Марлин-перемычка-Понсий даже не покраснел. А карлик, истинный недоносок, крутился то туда, то сюда, захватил несколько философских камней, но тут же их выбросил и покрылся пятнышками, похожими на глаза. Высматривал кого-то или что еще? Похоже было, что он даже многозначительно моргает. Все как-то приостановилось. Почему-то никто уже не разыгрывал духом. Почему-то все поблескивали. Было это преломление света или духовный надлом? Неизвестно, до чего дошло бы дальше, но в этом месте король Ипполип принялся топтать ногами и проекцию пришлось прервать. Король требовал объяснений.

– Увы, государь, мы этого сами не понимаем, – сразу признался Трурль. – В этом и состоит наше главное затруднение. Мы не знаем, чем являются действия Крентлина и Цевы – невинными играми или черной язвой нашего творения. Хуже того, мы не знаем, как бы нам это узнать. Мы повторяли опыт неоднократно, сменяя исходные условия. Иногда вместо двоюмужа получался полторант, иногда Цевинна получала перемычку, но это статистические отклонения, вполне банальные при любом сотворении мира.

– А этот переуженец?

– Этот выюн? Понимаю, что имеет в виду Ваше Величество. Он появляется каждый раз, иногда бывает побольше, иногда поменьше, временами несколько раздвоенный, как змеиный язык, что тоже вызывает всяческие подозрения. Но королю должно быть известно, что в каждом производстве имеются отходы, а там, где все настолько же материально, насколько и идеально, даже мусор может быть одушевленным. Следовательно, с технической стороны этот феномен представляется невинным побочным продуктом творения.

– Ты так полагаешь? Только почему он такой настырный? Чего он в них лезет? Может, это соблазнитель?

– Внешне так оно и выглядит, – согласился Трурль. – Но мы-то не знаем, соблазняет он или не соблазняет. Они там все взаимно проникают, но ради прогулки или с намерением прельстить, невозможно разобраться, потому что никак нельзя выяснить, чего им надо. Тут мы попали в переплет, потому что вышли за пределы

классического варианта творения. Тот духовный солитер извивается, как змий, поскольку худой он, а значит, и гибкий. Правда, согласно теологии, дьяволу и не полагается лишний вес, но, если посмотреть рационально, разве непременно зло должно быть тощим? Корпулентное тоже вполне могло бы искушать. Мы ничего не повторили и никому не подражали, когда создавали новый мир, – и вот результат. Мы создали мир, непохожий на наш, вот мы его и не понимаем.

– Что ты мне тут рассказываешь? А разве Господь Бог кого-нибудь копировал? Ведь он, как известно, творил из ничего!

– Только сам мир, Ваше Величество, а не райских поселенцев! Тех, если помните, «по своему образу и подобию». Примерно так он их смоделировал. И не случайно. Подобие сотворенных своему творцу – главное условие удачного творения! Чем сильнее отличается творец от своих детищ, тем меньше его разумение о том, кого же он сотворил, что они чувствуют, мыслят и каковы их намерения. Ваше Величество сами в этом только что убедились. Кто ликвидирует подобия, тот уничтожает оплот взаимопонимания. Если мы сами ни в чем не напоминаем сотворенных нами, то не можем и понять, кто, как, почему и зачем там что-то делает, а в первую очередь – почему он делает это так, а не иначе. Речь тоже ничего не объяснит, потому что основана она на подобиях, а их тут нет. Если у нас нет никаких органов, подобных органам сотворенного, если его телесность ни в чем не соответствует нашей, если его время – не наше время, а его пространство – не наше пространство, то оба наши мира ни в чем не совпадают и даже нигде не соприкасаются. Так мы можем по невежеству создать мир наиужаснейших мучений, и при этом у нас не хватит воображения даже представить, что мы сотворили. Существа, совершенно отличные от творца, для него совершенно непроницаемы и непостижимы. Я считаю, что это первый закон творения миров, его неотделимая антиномия. Либо мы сотворяем понятных нам, и тогда они должны быть богоподобными, либо создаем непохожих, судьбе которых не сможем даже сочувствовать, ибо она останется непроницаемой тайной.

– Вот! Вот это важно! О! Фундаментальную вещь ты сейчас сказал, Трурль!

– вскочил с места Ипполип. – Да! Теперь я вижу! Я понял! Суждение, что тот напухлец там познавал блаженство, потому что так цветисто дымил, как доказательство истины стоит столько же, сколько утверждение, что тот, кто эффективно горит на костре, испытывает от этого удовольствие! Теперь я понимаю! Повернуть дело творения лицом к сотворенным – это одно, а понимать, как у них там дела, что они имеют от этого бытия, – это совсем другой вопрос! Друзья мои, изъясляю

вам нашу особую благодарность за это откровение, ибо оно утвердило меня в вере. Теперь я буду еще крепче верить в Бога, чем до сих пор.

– Не вижу связи, – удивился Трурль.

– Не видишь? А «*Credo quia absurdum est*»?⁹ Вечный – самопортящихся породил, всемогущий – беспомощных, всеблагой, кому ни малейшего труда не составляет сохранение добродетели, – похотливых ничтожеств. Как же ему не разочароваться, видя такое сочетание качеств? «По своему образу и подобию» он строил свои ожидания, но оказался неспособен миниатюризировать их до масштабов сотворяемого! Вечного огня ожидал он от искорки своего блеска! Отсюда его кажущаяся эксцентричность, мнимые Божьи чудачества, впечатление, что он какой-то шарлатан, чудака, маньяк, сутяга и крючкотвор, который и после смерти тянет сотворенных на судебные процессы, расследования и разбирательства во всех инстанциях долины Иосафата.

Ах, теперь я понял, что так угнетало отцов церкви, а особенно Августина

– эту непостижимость, унижительную не только для здравого рассудка, но и для чувств, они не смогли понять, упрятали свое изумление в догматы, отказались от собственного разума, не зная, что им явилась антиномия, заключенная в технике, а не в этике творения. Да, конечно, это так! Теперь я уже без всякого сомнения верю в Бога и сочувствую ему, – уже спокойно закончил король.

Однако Клапауций его вовсе не слушал. Казалось, он что-то внутри себя переваривал, усмехаясь мыслям, навестившим его неожиданно. Наконец он поднялся с мира, на котором сидел, притом так торжественно, будто собирался взлететь.

– Наисветлейший король! – произнес он важно, сильным голосом. – Мне пришла в голову одна идея, совсем новая. Я не люблю хвастать, но должен сказать, что это замысел совершенно гениальный. Теперь я знаю, что нужно сделать, чтобы создать мир, стремящийся к совершенству, такой, жители которого найдут и утвердят во веки веков собственное счастье, но при этом не будут ни в чем, повторяю, ни в чем похожи на того, кто их сотворил...

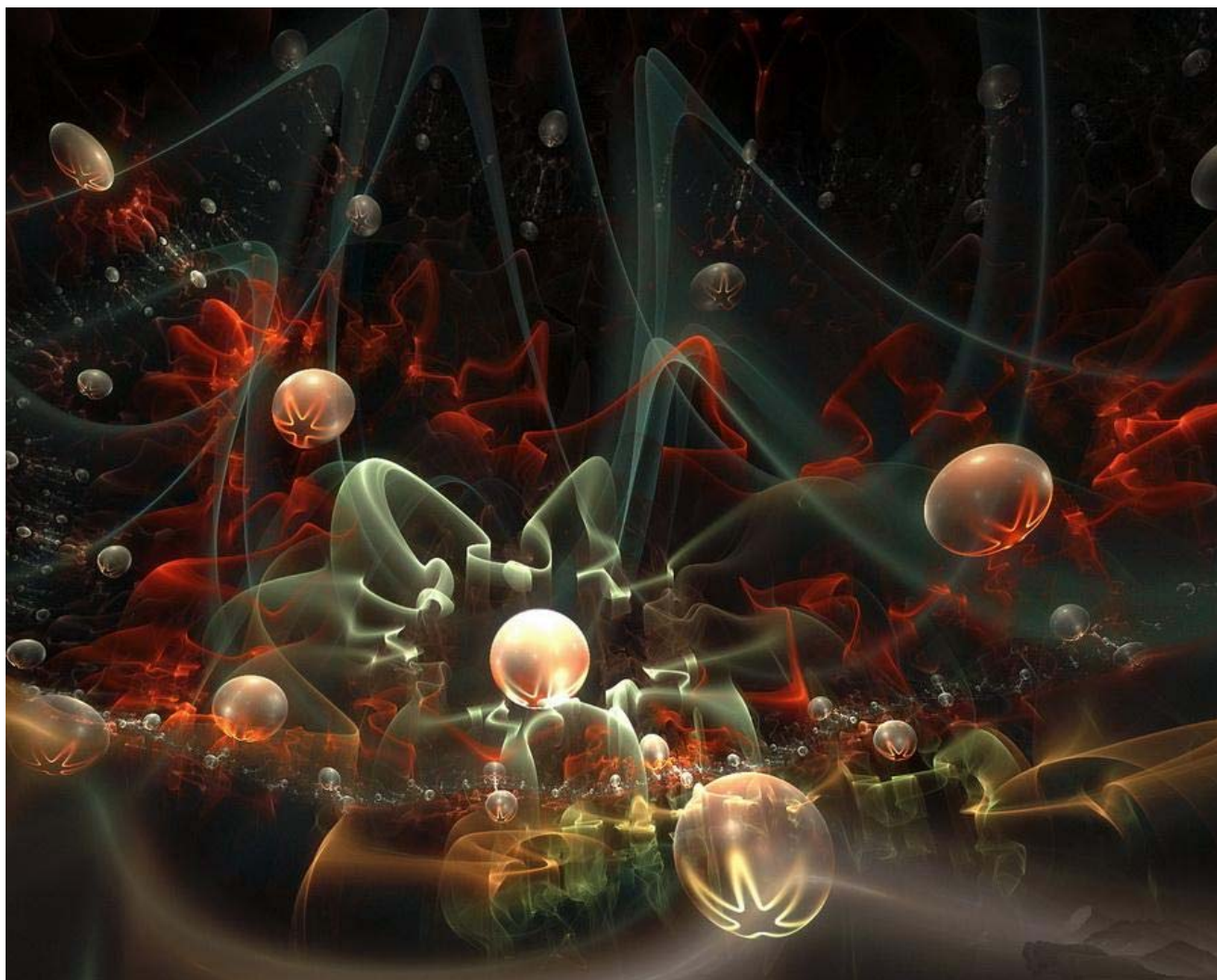
– Ну! Ну! – в один голос воскликнули Трурль и Ипполип...

Однако Клапауций ничего им больше не сказал. Сказал только, что через четыре дня приготовит новый мир и экспериментально докажет его безупречность. Напрасно настаивал монарх и злился Трурль. С улыбкой высшего знания, с насмешливым

⁹ Верую, ибо абсурдно (лат.)

равнодушием гения, который, заслужив вечную славу, ни во что не ставит злопыхательство завистников, Клапауций начал подбирать с полу инструменты. Тогда Трурль заявил, что умывает руки и не будет участвовать в очередной попытке, но пойдет и сам проведет эксперимент в новом направлении. Монарх условился о встрече с обоими конструкторами в дворцовом зале аудиенций в ближайшую среду, и с тем они разошлись.

В среду оба прибыли пунктуально. Трурль с пустыми руками, а Клапауций прикатил тележку, которая трещала под тяжестью аппаратов, и сразу же приступил к демонстрации.



– Государь, я достиг успеха, – сказал он. – Но чтобы все было с самого начала ясно, я должен сделать к моему творению небольшое устное вступление. Мой... э-э... коллега Трурль сформулировал антиномию творения в классическом варианте следующим образом: чем меньше подобен творец своим сотворенным, тем труднее ему разобраться в их судьбе. Когда же в пределе подобие равняется нулю, творец не знает о качестве жизни своих креатур ровно ничего. Отсюда якобы неразрешимая

дилемма: либо уподобить творимых самому себе, но тогда чем лучше творец будет понимать сотворенных, тем больше будет ограничен он сам и утратит творческую свободу, либо чем свободней он в своих начинаниях, тем дальше будут от него ускользать сотворенные в своей сущности и существовании. Я уничтожил эту дилемму своим неклассическим подходом. Я сотворил не один мир, а потенциальное их множество – не универсум, а поливерсум вызвал я к жизни в этом ящике. Я сам не знаю, как живется там теперь моим существам, но мое незнание не имеет никакого значения, потому что я поместил их в многовариантном мире, который они могут менять на совершенно иные миры. Кому не подходит данное существование, кому все осточертело, тот бежит к рычагу и одним поворотом переводит бытие на новый путь. И каждый такой мир существует на распутье, будучи пересадочной станцией для бесчисленного множества других, легко доступных миров. А поскольку мои сотворенные сами копаются в бытиях, как в разложенных товарах, поскольку могут примерять их как шапки, руководствуясь своим собственным, а не моим вкусом, то получается вселенная, которая в конечных качествах зависит только от голосования ее жителей. Как творец я дал им максимальную свободу! Я ничего не выбираю за них, не даю им никаких рекомендаций, инструкций или заповедей – ни из горящего куста, ни из какого другого места, я ничего им не навязываю и ничего им не запрещаю, не делаю вида, что знаю лучше них, в чем заключается их счастье, что возвышает их, а что ведет к падению. Они могут заблуждаться, но ни одна ошибка не будет окончательной, ибо ее исправит переключение онтологической стрелки. А потому мой мир не является дидактическим, авторитарным, школярским, арбитражным, категорически заданным раз и навсегда без всяких консультаций и дискуссий. Это не исправительный дом с карами и поощрениями, которые я мог бы установить, сохранив для себя право помилования в исключительных случаях. В этом мире нет подруг, которые я один мог бы иногда отпустить своим чудотворным вмешательством.

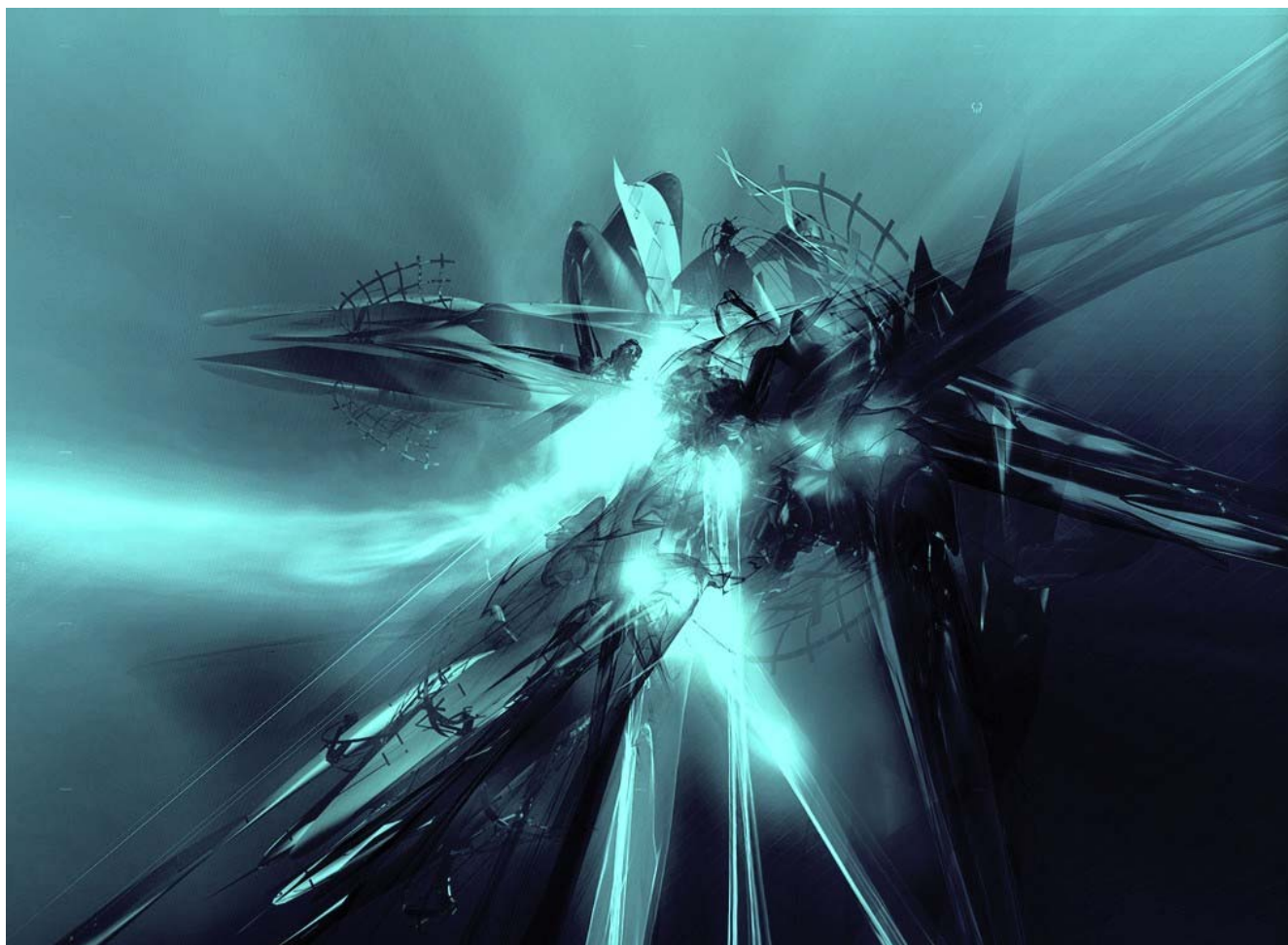
И поскольку этот мир будет все время преображаться и менять суть до тех пор, пока в нем останется хотя бы одна личность, не удовлетворенная тем, что есть, он будет блуждать, пресуществляясь в разные стороны, погружаться в разные судьбы, пока не попадет в такую, которая всех удовлетворит. Только тогда никто не тронет переключателя, ибо воцарится вечная гармония. Итак, мой мир не стартует в раю, чтобы потом поскользнуться в сторону ада, а берет начало в борьбе и направляется к вечному раю. Я все сказал, государь.

– Ага! – сказал Ипполип, который просветлел лицом, пока слушал Клапауция. – Вот! Это мне в самый раз! Давай! Ну, ну! Кажется мне, что на этот раз ты угодил в

десятку! Говоришь, учредил выборы? Пятидостойное демократично-онтичное голосование: равное, всеобщее, свободное, тайное, да еще и обратимое? Что ж, это похоже на идеальное равноправие. И говоришь, не можешь ничего понять, ихних там поступков, мотивов? По правде говоря, немного жаль.

– Вот, вот! – Клапауций поднял палец укоризненным жестом. – «Немного жаль», не так ли? Жаль, что нельзя возноситься, вмешиваться, мудрить, требовать, ругать, обласкивать, приводить в исполнение, рога обламывать, поливать серой и при этом петь себе дифирамбы устами сотворенных! Конечно, можно кое-что понять и в таком мире, как этот мир в ящике, но это возможное понимание ни к чему не обязывает, оставаясь чем-то вроде частного мнения, *votum separatum* Творца, записанного на полях его Творения...

– Ну что ж, покажи, покажи, любезный, нам свой мир, – вздохнул Ипполип и поудобней уселся на троне, а Клапауций, не обращая внимания на угрюмо молчавшего Трурля, пустил сноп света на алебастровую стену.



И снова они увидели Крентлина-зорянина, его духовные метания и заблуждения, закончившиеся появлением на свет гермафродитного потомства. Цевинна совсем не

изменилась, а муж на этот раз оказался полтораком, потому что на него пошло меньше аматерии и он появился как по туловищу перевязанный Марлин Подпонций.

А так как присутствующие это уже раз видели, картина показалась им вполне доступной для понимания, а кое в чем даже ясной. Каждый созданный был понемножку везде, каждый, общаясь с другими отдельными своими частями, присутствовал по желанию в братних и сестринских душах, посещая ближних изнутри с умеренностью, происходящей от поверхностного натяжения и хороших манер. Видимо, желая доказать бесполезность артикулированной речи для понимания событий, Клапауций включил звук, и этот немой до сих пор мир взорвался многоголосым говором.

Сразу же донеслись до них отзвуки трюмления. Это муж, Марлин, раздувал себе приятные минуты в Цевинне, блуждая в ее размышлениях. Потом что-то между ними испортилось. Подпонций удалился, слегка затуманенный сзади, а Крентлин стал напирать на нее. Цевинна не пропускала его вовсе, будто аппретированная.

- Ну, дай мне хотя бы один трюм! Соснимся! Затуманы устроим!
- Сам затуманься! Прошу в меня не вмешиваться! Это моя клокоть!
- Осмотическая прелестница, зоревая сгустница! Пустим Понтяка на клейстер!
- Вы забываетесь! – донеслось неразборчиво.
- Что тебе, полторант милее? Я тебе вмою, втрою, замстру!

Не совсем было ясно, кто, о чем и в каком смысле кричит. Посреди морены из отвалов философского камня тут и там торчали аккуратно покрытые навесами пересушницы. Цевинна от взъяренного Крентлина стянулась к ближайшей из них, где сидел на страже превратник, непроницаемый, будто весь затянутый бельмом, такой молокосос. Между ними произошел краткий обмен мыслями:

– Дай мне сплав, дай отпуст, хоть на один трюм, а то съюхчу! Шансуй мне забыт, во как нужно! На мучильский всос!

– Отоймись, смотри, перебытую! Не балуй, не еленься, ты!

Пользуясь замешательством, Цевинна уже диффундировала сквозь превратника к рычагам, но в этот момент Крентлин, выйдя из себя, окружил ее сгустки, внедрился в нее, захватив по дороге молокососа, и начал ее ожесточенно трюмить: «Засушимся здесь, тут!..»

А уж Марлин рвался к ним так, что лопнула перемычка и муж вместе с отделившимся побочным Подпонциком влетели в Крентлина с намысленной стороны,

распучили его, вышла куча мала. Цевинна выскочила оттуда растормошенная и стала иннеть. Каждую минуту меняется: евится, мариолизуется, наконец, слюдмилась – что это, болезнь или вид мимикрии? По некоторой относительной близости наеленилась, но стала скорее Елендой, чем Еленой, может, от волнения, а может быть, второпях.

Тем временем над пересушницей Марлин и Подпонций с Крентлином превратились в клубок кипящего киселя, размазывая во взаимных турбуленциях превратника, который напрасно старался сосредоточиться, потому что его рассеивали с подмысленной стороны.

– Чтоб ты лопнул, чужеловская диффузия! – вопят как один мужья.

– Сами лопайтесь! Впитывайтесь в мертвячий чух, а не то я вас сам впитаю! – отвечал им любовник, хотя и неудачливый, но уж близкий к цели.

– Ты, растворяк, черт с тобой! Вали в онтику!

Крентлин в один миг вымыслился из пересушницы и уж был рядом с Цевинной, наполнил собою ее всю, хотя и в фазе Еленды. Муж тут дернулся сразу в обе стороны – к жене и к рычагам:

– Пересущаюсь, чтоб Крентляк впитался! Цева не изменится? Мигом мне шансуй, беляк!

А превратник совсем выцвел и сипит:

– Пусти, радикал лощеный! Или по нулям, или трансфинально. Компромисс не советую – трюма не выйдет!

– Уточни! Кто занулится? Влезун?

– Гы! Может, твоя четверть, а может, Понцкая, а может, и оба пропадете. Я не пророк, а шансер.

– Шанса тебе в трюм! Затьмись! Пересущаюсь!

Подскочил Марлин к пересушнице, Подпонций с ним вместе тянет.

Тут блыснуло, заничевело, но через мгновение опять они тут, но не те же самые, ибо онтика стала совсем другая. Понция нет и следа, Крентлин уже не Крентлин, а Гренслич, и к тому же карликовый, как будто его таким индукировала экономная Цевинна, которая сама ничуть не изменилась, по крайней мере на первый взгляд. Пресуществование вызвало всеобщую панику. Кто мог, сразу нырнул в кого попало, то ли чтобы спрятаться, то ли от утробного рефлекса – неизвестно. Каждому хотелось быть в самой середине. Цевинне тоже, поэтому она двинулась в посторонние

неясницы, но попала как раз в область таких отдаленных интересов, что ее там вообще почти не было, тогда она прояснилась на вылет и выпала на морену. Она еще дрожала, а тут

– что за постоянство чувств! Марлин пополам с Гренсличем к ней. Тут она смешалась, а они с нею. Она хотела уйти прочь, стряхнуть их, выйти из этого бедлама, в котором уже никто собственных мыслей не узнавал и тянул к себе чужие, принимая их за свои в психическом замешательстве, почти что помешательстве. Цевинна развеялась оболочками, а те с трудом опомнились, полные чужих чувств, и направились к пересущице. Теперь Марлин дал другое бытие. Из хаоса воплей можно было заключить, что теперь уже никто ничего не понимает.



Дым повалил, как от ста пожаров без огня. Казалось, что каждый, по-прежнему вездешней, кроме того, выпускал из себя будех, то есть планы на будущее, неисполненные намерения, и тем обильнее, чем отчаяннее старался сосредоточиться.

Возможно, это была лишь форма экстернализации мыслей, или же в конце концов (так потом утверждал Трурль) дело дошло до панпсихической аннигиляции, и

упомянутые дымы были вывороченными наизнанку интеллектуальными потрохами жителей этой версии бытия.

Глядь, а тут Гренслич разлетается во все стороны, вместо мировоззренческой морены какие-то тумбы, до самого горизонта умозаключается тихая мыслительность, мир в этом варианте как бы более доодушевленный, но в высшей степени официальный, потому что повсюду какие-то гербы и печати. Муж не муж, а уж и сползает к Цевинне с довольно сильной прецессией. Сила Кориолиса, Мопертюи или привычки – не разберешь. Вдобавок ко всему исчезло деление по родам. Неизвестно стало, что предпринимать, потому что пропал смысл конфликта. Секс тут уже из области преданий – не секс, а экс. Мужж, не разобравшись в этом вследствие сильного аффекта, кинулся было в глубь Некароля Гренслицкого, шипя: «Я ж тебя заклоочу, я тебе покажу этрусское бытие!» – но остолбенел, увидев, что перед ним не любовник, а любовно: сникакала Гренслича эта онтология.

А тут еще вмешался молокосос, вдруг отпихнул ужа, а сам шасть в пересущницу и – полный назад, чтобы вернуть нечто предыдущее, но либо попал в дурной трюм, либо хватка у него соскользнула с онтоятки. Охнули все координаты, континуум ужасно застонал, как будто с ним выкидыш случился, посыпался град философских камней, и сверкнул новый мир, но какой!

Из мужа-ужа получилась растопырка, явно женственная, как будто этого женского начала чуть-чуть оставалось на самом дне, превратник, весь в батистовых оболочках, как вьюнок обвился вокруг пересущницы и расцвел над рукояткой радужным цветком – ни дать ни взять папоротник в ночь на Ивана Купала!

А где же Цевинна? Какие-то раздутые вспученности, пузыристые завитушки, баллонеты-монгольфьеры в небесах – она ли это? Растопырка из ужа влезла в соседник, где пелегриб с недодуткой разглагольствует, стоя на одной ноге, а со ста сторон, дрожа от усилий, ложноножки тянутся к онтоятке...

Король уже минуту как требовал прекратить проекцию, немедленно закончить. Клапауций наконец неохотно повиновался. Он выключил аппаратуру, ворча, что можно было бы обождать еще несколько пересуществлений, что в конце концов все это должно как-то отдистиллироваться, разъясниться, это они так, по неопытности, с непривычки, из-за спешки, но никто его не слушал. Король сунул скипетр в карман и чистил державу рукавом, а Трурль, став на четвереньки, с трех сторон осматривал ящик со вселенной, зажмурив то один, то другой глаз, заглядывал внутрь через щели, постукивал в дно, потом решительно поднялся и сказал, стяхивая колени: «Значит,

так. Выбравшись из классической антиномии, уважаемый коллега влез в неклассическую». Пятидостоинные выборы онтологии – не так ли? Смешно! Они же в этом ящике ничего не выбирают, а только скачут, как рыбы на сковородке, бедняжки. Открытие, несомненно, налицо: падучая многосушная, или *ontolepsia progressiva* – новый вид экзистенциальных страданий. Ведь они тем только и заняты, что от холеры бегут к чуме, от чумы к проказе, и как можно при этом утверждать, что, убегая от одной заразы в другую, сотворенные таким образом приближаются к идеалу?

Тут Клапауций начал кричать и даже, забыв о королевском присутствии, топтать на Трурля, который уселся на его мир и вызывающе болтал ногами. Дело могло дойти до оскорблений действием, если бы не вмешался Ипполип, напомнив, что это как-никак, а все же сотворение мира.

Едва остыв, Клапауций принялся бойко и научно объяснять, почему множество альтернатив бытия должно оказаться для сотворенных непредсказуемым: бытия не ботинки, чтобы их можно было примерить! Риск есть при каждом переходе, это накладные расходы прогресса. Но» в его, Клапауция, варианте расходы эти меньше, чем в классическом, и он готов доказать это расчетами. Примерка бытия невозможна еще и потому, что когда кто-нибудь переходит из одной онтики в другую, то он не только меняет все свое окружение на совершенно новое, но вместе с тем и собственную сущность подвергает непредсказуемому изменению. Риск здесь неизбежен, а пробы требуют времени, но что такое десять минут лишних наблюдений в сравнении с целыми эпохами классического варианта? Идеальное состояние может наступить через час или через двести лет, это правда, но другого пути не существует... Так он продолжал, употребляя все более замысловатые термины, ссылаясь на топологию духа и геометрию осознаний и озарений, излагая элементы эндоскопической онтографии, климатизации эмоциональной жизни, ее уровней, экстремумов, подъемов, спадов, а также упадков духа, и болтал так долго, что охрип, а у короля разболелась голова. Тогда Трурль поднялся с мира, на котором сидел, и, вынув из-за пазухи небольшой клочок бумаги, сказал:

– И я тоже не тратил попусту эти последние дни, государь. Позвольте представить Вашему Величеству результаты моей работы.

– Подожди, – прервал его король. – Один из моих советников так мне вчера сказал: если мир выйдет у нас лучше, чем у Господа Бога, тогда он выиграл, потому что это значило бы, что он наделил нас, сотворенных, неограниченными творческими возможностями. Если же мир нам не удастся, то выходит, что он нам этого всемогущества не дал, потому что не захотел. Итак: если выиграем, то проиграем, а

если проиграем, то как раз и выиграем! Ведь выиграть мы можем только за его, за Божий счет, в то время как, проиграв, мы проявим немощность, которую он нам придал, и эту немощность ему возвратим с протестом, что мы жертвы дискриминации при сотворении мира! Что скажете?

– А! Софизмы! – Трурль сунул королю под нос свою бумажку и при этом забылся до такой степени, что, желая до конца унижить Клапауция в монарших глазах, потянул короля за обшитый горностаем рукав: – Вот, взгляни сюда, государь! Это проведенное мною формализованное, то есть окончательное доказательство *невозможности* сотворения мира!

– Да? Ну? – изумился монарх. – Что я слышу? Так ты действительно доказал, что нельзя?

– Да, государь. И без всяких натяжек. Нечего и стараться – вот расчеты.

Король вытаращил глаза.

– А как же, однако, все это? – развел он руками. – Мир-то существует...

– Что ж, – пожал плечами Трурль. – Таков уж этот мир... Я-то имел в виду совершенный...

